РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е
И
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я И З А Р У Б Е Ж Н А Я
Л И Т Е Р А Т У Р А

РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

СЕРИЯ 11

СОЦИОЛОГИЯ

2017 – 3

Издается с 1991 года
Выходит 4 раза в год

МОСКВА 2017

ББК 60.5
С 69

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел социологии и социальной психологии

Редакционная коллегия серии «Социология»:

М.А. Ядова – канд. социол. наук, гл. ред., *Д.В. Ефременко* – д-р полит. наук, *Л.Н. Верчёнов* – канд. филос. наук, *Л.Д. Гудков* – д-р филос. наук, *М.В. Ильин* – д-р полит. наук, *Ю.А. Кимелев* – д-р филос. наук, *В.Г. Николаев* – канд. социол. наук, *Н.Н. Федотова* – д-р социол. наук, *А.Ф. Филиппов* – д-р социол. наук, *Е.В. Якимова* – канд. филос. наук, *Я.В. Евсеева* – отв. секретарь, науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – № 3. – 155 с.

С 69

Данный номер журнала включает тематическую подборку рефератов по этносоциологии, а также рефераты по социологии жизненного пути, социологии культуры, социологии насилия, экосоциологии и раздел «Социологическая классика».

ББК 60.5

ISSN 2219-8830

© ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА: ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

А.М. Понамарева. Исследования социокультурной адаптации в контексте современных миграционных вызовов: Введение к тематическому разделу 5
2017.03.001. Дос Сантос И. Ангола – Эльдорадо для португальской молодежи? Воображаемые миры и опыт мобильности в португалоязычном пространстве 15
2017.03.002. Силуэтт-Деркур В. Курсы интеграции для иностранцев в Германии: От изучения языка до обучения потреблению 22
2017.03.003. Клик Н. «От этого никуда не деться. Это у тебя в крови»: Натурализация этничности и стратегии, обеспечивающие семейную и внутригрупповую сплоченность 26
2017.03.004. Роза Э. Скрытые практики сопротивления цыган-мигрантов в Турине и Марселе 32
2017.03.005. Эркан С.А. Создание и подкрепление доказательств о «несостоявшемся мультикультурализме»: Случай «убийства чести» в Германии 38
2017.03.006. Инг Э., Блэмраад И. SWOT-анализ мультикультурализма в Канаде, Европе, Республике Маврикий и Южной Корее 45
2017.03.007. Минчев Н., Мур Г.Л. Сверхразнообразие и процветающее общество 54

СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

2017.03.008. Бёртон-Жангро К., Циммерманн-Слуцкис Д. Траектории удовлетворенности жизнью среди пожилых швейцар-

ских женщин: Анализ с точки зрения возраста, периода и когорты 64
2017.03.009. Хоки Д. Автобиографии «пожизненных преступников» в зеркале нарративной теории: Опыт анализа 68

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

2017.03.010. Букман С. Бренды и городская жизнь: Кофе класса «Спешиалти», потребители и их участие в создании городских кофеен как особых социальных форм 78
2017.03.011. Фюреди Ф. Моральная паника и чтение: Преждевременная тревога элит относительно медиавоздействия 84
2017.03.012. Уэст К., Глинос Дж. «Разговоры о смерти», «разговоры об утратах» и идентификация в процессе старения 90

СОЦИОЛОГИЯ НАСИЛИЯ

2017.03.013–014. От уличной группировки к транснациональной криминальной организации: Эволюция *Mara Salvatrucha* сквозь призму социологии. (Сводный реферат) 94
2017.03.015. Ли Ч. Нефть и терроризм: Вскрывая механизмы взаимосвязи 105

ЭКОСОЦИОЛОГИЯ

2017.03.016–017. Социальные и гуманитарные науки перед вызовами антропоцена. (Сводный реферат) 113

CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

2017.03.018. Кули Ч.Х. Процесс социального изменения. (Перевод с англ.) 123
2017.03.019. Кули Ч.Х. Политическая экономия и социальный процесс. (Перевод с англ.) 142
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ, ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА 152
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (№ 3, 2017) 153

ТЕМА НОМЕРА: ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

А.М. ПОНАМАРЕВА

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ:

Введение к тематическому разделу

В современном глобализирующемся обществе, где, по выражению У. Бека, «аннулируется центральная предпосылка Первого модерна, т.е. *представление о том, что мы живем и действуем в закрытых, отграниченных друг от друга пространствах и национальных государствах*[1], проблема обеспечения мирного сосуществования многообразных культур стоит особенно остро. Обесценивание понятия «расстояние» вследствие научно-технического прогресса и развития средств коммуникации, открытость границ и возрастание интенсивности миграционных процессов меняют устоявшиеся правила взаимодействия социальных субъектов. Притом что соответствие потребностям социально-экономического развития принимающей страны все еще остается одним из основных критериев оценки потенциала иммиграции, этнокультурные и политические аспекты последней начинают играть все большую роль. Швейцарский писатель М. Фриш, размышляя о провале миграционной политики западноевропейских стран 1960-х годов, рассчитывавших за счет временного привлечения иностранцев из бывших колоний восстановить свою рухнувшую в годы Второй мировой войны экономику, образно заметил: «Мы хотели рабочих, а получили людей»[2]. Действительно,

[1] Бек. У. Что такое глобализация? – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 42.

[2] Цит. по: Денисенко М. Изменения в иммиграционной политике развитых стран // Отечественные записки. – М., 2004. – № 4. – Режим доступа: http://www.strana-oz. ru/2004/4/izmeneniya-v-immigracionnoy-politike-razvityh-stran [Дата обращения: 06.06.2017.]

мигранты входят в новое общество не только как участники национального рынка труда, но и как носители собственных, специфических культурных ценностей. Взаимодействие иммигрантов с принимающей средой носит двусторонний характер: изменяясь сами, они одновременно способствуют трансформации социокультурного ландшафта страны назначения. И в такого рода условиях задача научного осмысления специфики и последствий межкультурных контактов представляется крайне актуальной, тем более что с того момента, как внешняя миграция стала массовым явлением, академическим сообществом был накоплен солидный багаж знаний по соответствующей проблематике.

Непосредственно к анализу межкультурной адаптации ученые обратились уже в первой четверти XX в., что было обусловлено возрастанием интенсивности межстрановых перемещений людей. Тема социальной адаптации раскрывалась в трудах Г. Тарда, Р. Парка, Т. Парсонса, У. Томаса, Ф. Знанецкого и П.А. Сорокина[1]. Исследованию условий и динамики процесса межкультурной адаптации были посвящены работы Р. Линтона, Р. Редфилда, М. Херсковица[2]. Изучение процесса социокультурной адаптации в рамках социологии образования вели П. Уикс и С. Бокнер. В качестве инструмента оценки неравенства между культурами исторической родины мигранта и принимающей стороны И. Бабикером с соавторами[3] был разработан индекс культурной дистанции (CDI). Свое

[1] Тард Г. Законы подражания. – СПб.: Ф. Павленков, 1892; Park R. Race and culture. – N.Y.: Free press, 1950; Parsons T. The social system. – N.Y.: Free press, 1951; Tomas W.I. Social behavior and personality. – N.Y.: Social science research council, 1951; Сорокин П.А. Этнографические этюды: Сборник этнографических статей П.А. Сорокина. – Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1999; Сорокин П.А. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – С. 245–251; Сорокин П.А. О русской нации: Россия и Америка: Теория национального вопроса. – М.: АКИРН, 1994.

[2] См., в частности: Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the study of acculturation // American antropologist. – Menasha (WI), 1936. – Vol. 38, N 1. – P. 149–152.

[3] Babiker I.E., Cox J.L., Miller P.M. The measurement of cultural distance and its relationship to medical consultations, symptomatology and examination performance of overseas students at Edinburgh University // Social psychiatry. – N.Y., 1980. – Vol. 15, N 3. – P. 109–116.

подтверждение концепция культурной дистанции нашла в работах А. Фернхэма[1] и С. Бокнера[2]. Влияние самого факта переезда в новую страну на душевное и физическое состояние мигранта исследовалось А. Ганном, С. Цвингманном, А. Штоллером, Дж. Крупински, Е. Роски, Х. Мёрфи. Взаимосвязь эмиграции и здоровья с учетом мотивов, повлекших за собой перемещение, рассматривалась также в работах С. Айзенштадта, Дж. Чёрча и В. Лоннера.

В целях описания негативных последствий межкультурного контакта К. Оберг[3] ввел в научный обиход понятие «культурного шока», которое Дж. Берри[4] предложил заменить термином «стресс аккультурации», отражающим и положительные аспекты взаимодействия, а потому более корректным. Последовательность стадий, преодолеваемых индивидом в процессе вхождения в новую культуру, была описана в рамках концепции U- и W-кривой Х. Триандиса[5], С. Лисгаарда, Дж.Т. Гуллахорна и Дж.Е. Гуллахорна, а также антропоинтегративного подхода Д. Висса и Р. Фирнхабера.

Индивидуальные и групповые факторы социокультурной адаптации рассматривались в упомянутых выше исследованиях Х. Триандиса, И. Бабикера, А. Фернхема, С. Бокнера, а также в работах Т. Ламбо, А. Нудеху, А. Анумонье. Типология видов взаимодействия групп с точки зрения последствий миграции для групповой и индивидуальной идентичности была предложена С. Бокнером. В дальнейшем Дж. Берри[6] творчески переосмыслил ее, смес-

---

[1] См., в частности: Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001.

[2] Bochner S. The social psychology of cross-cultural relations // Cultures in contact: Studies in cross-cultural interaction / Ed. by S. Bochner. – Oxford: Pergamon, 1982; Furnham A., Bochner S. Culture shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. – L.; N.Y.: Routledge, 1986.

[3] Oberg K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments // Practical anthropology. – New Canaan (CT), 1960. – Vol. 7, N 4. – P. 177–182.

[4] Berry J.W. Acculturative stress // Psychology and culture / Ed. by W.J. Lonner, R.S. Malpass. – Boston (MA): Allyn & Bacon, 1994. – P. 287–298.

[5] Triandis H.C. Culture and social behavior. – Boston (MA): McGraw Hill, 1994; Triandis H.C. Cross-cultural psychology // Asian j. of social psychology. – Oxford, 1999. – Vol. 2, N 1. – P. 127–143.

[6] Berry J.W., Sam D.L. Acculturation and adaptation // The Cambridge handbook of cross-cultural psychology. – Boston (MA): Allyn & Bacon, 1997. – Vol. 3. – P. 7.

тив акцент с последствий на начало миграции. Обобщением двух данных типологий стратегий адаптации стала концепция «четырех F» («Fligt», «Fight», «Filter», «Flex»), разработанная К. Доддом[1].

Первая модель – «Fligt» – описывает стратегию бегства или пассивной автаркии. Замыкаясь в границах собственной этнокультурной среды, мигранты образуют замкнутое «гетто», стараясь лишний раз не покидать созданный ими микромир. Геттоизация характерна для инокультурных иммигрантских меньшинств, оказавшихся в положении переселенцев или беженцев, живущих в крупных индустриальных столицах и мегаполисах. В качестве примера можно привести старый турецкий квартал Кройцберг в Берлине, русскоязычный Брайтон-Бич в Нью-Йорке, армянские в Лос-Анджелесе.

Модель «Fight» – борьба или агрессивная автаркия – отражает ситуацию, при которой приезжие активно критикуют культуру автохтонного населения и пытаются навязать принимающему обществу собственные образцы и стереотипы поведения.

Модель «Filter» – отделение или фильтрация – проявляется как разнонаправленная стратегия: полный отказ от новой культуры и твердая приверженность своей культуре или полное восприятие новой культуры.

И наконец, четвертая модель – «Flex» – гибкость, флексибильность – отражает осознание мигрантом необходимости частичного принятия нового кода культуры – языка, жестов, норм, привычек; этнического фрейма.

Очевидно, что интересам принимающего общества отвечают лишь стратегии «Flex» и «Filter» (в случае, когда последняя проявляется в форме полной ассимиляции), но интеграционная политика государств формируется под влиянием такого множества оказывающих разнонаправленное воздействие факторов, что идеальное в теории нередко оказывается практически недостижимым на практике[2].

---

[1] Dodd C.H. Dynamics of intercultural communication. – Dubuque (IA): W.C. Brown, 1991.

[2] Описание стратегий социокультурной адаптации приводится по: Татунц С.А. Этносоциология. – М.: МАЛП, 1999. – С. 65–67.

Если обращаться к отечественной теории социальной адаптации, то ее основы заложили В.А. Ядов[1], Л.Л. Шпак[2], Б.Д. Парыгин[3] и др. Предметом внимания ученых стали вопросы, связанные с анализом двух взаимосвязанных сторон социальной адаптации (предметной и социально-психологической, согласно Б.Д. Парыгину), а также с определением понятия и структуры процесса адаптации и методов его исследования (Л.Л. Шпак).

В 1990-е годы миграционные процессы на постсоветском пространстве определялись факторами, связанными с распадом СССР, разрушением экономического потенциала целых регионов, значительным спадом промышленного производства и сокращением занятости на предприятиях. Общество столкнулось с проблемой адаптации беженцев и вынужденных переселенцев, покидающих места проживания из-за этнических, политических, региональных конфликтов и стремительного ухудшения условий жизни. Эти проблемы оказались в центре внимания научного коллектива Отдела Института социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН), возглавляемого Л.Л. Рыбаковским[4], ла-

[1] См., в частности: Общая социология: Теория и прикладные исследования / Ядов В.А., Беляев В.Я., Мараруца В.Ф., Оконешников П.Н. – СПб.: СПбГУ, 2001.

[2] См., в частности: Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация в советском обществе: Философско-социологические проблемы. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991.

[3] См., в частности: Практикум по социально-психологическому тренингу / Под ред. Б.Д. Парыгина. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000; Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Уч. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.

[4] См., в частности: Рыбаковский Л.Л. Россия и новое зарубежье: Миграционный обмен и его влияние на демографическую динамику. – М.: ИСПИ РАН, 1996; Рыбаковский Л.Л. Исследования миграции населения в России. – М.: ИСПИ РАН, 2000; Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: Популяционные и геополитические аспекты. – М.: Экон-Информ, 2003; Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Международная миграция в Российской Федерации = International migration in the Russian Federation: Научный доклад. – М.: ИСПИ РАН, 2005; Карпова Ю.Ю., Рыбаковский Л.Л. Миграционный обмен населением между Россией и Украиной на стыке XX и XXI вв. – М.: ИСПИ РАН, 2005; Рыбаковский Л.Л. Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве: Монография. – М.: ИСПИ РАН, 2006.

боратории миграции населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН под руководством Ж.А. Зайончковской[1].

Методические проблемы адаптации личности разрабатывались Л.П. Буевой, О.И. Зотовой, И.К. Кряжевой. Прикладные аспекты адаптации были проанализированы Т.Г. Стефаненко, социально-психологические – Е.В. Виттенберг, Ю.П. Платоновым, Е.В. Скворцовой; социокультурные – Л.Л. Шпак, Л.И. Васеха; этнокультурные – С.М. Бурьковым, Р.Г. Кузеевым. Модифицированную версию типологии стратегий адаптации Дж. Берри предложил С.А. Арутюнов. В качестве сложного и многогранного процесса и результата установления определенных отношений между личностью и средой социальную адаптацию рассматривали В.Л. Сарапас, М.А. Иванова, Н.А. Титкова. Мотивационно-личностный аспект адаптации был проанализирован в работах Т.К. Фоминой.

Существенные положения, раскрывающие различные стороны адаптации мигрантов в инокультурной среде, содержатся в специальных монографиях и исследованиях отечественных ученых: Г.М. Андреевой, В.В. Амелина, А.Г. Асмолова, Г.С. Витковской, О.А. Власовой, Г.Г. Гольдина, Л.М. Дробижевой, Н.М. Лебедевой, В.К. Левашова, А.Д. Назарова, Е.А. Назаровой, В.И. Староверова, А.В. Сухарева, З.В. Сикевич, С.А. Татунц, В.А. Тишкова, М.Л. Тюркина и др.

Объемный пласт исследований в области психологической и социально-психологической адаптации мигрантов проведен Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, В.В. Гриценко. Выпущен ряд сборников, тематика которых посвящена проблемам исследования психологических аспектов адаптации мигрантов.

Различные аспекты адаптационного процесса иноэтничных групп мигрантов к новой среде, вопросы взаимодействия содержатся в трудах С.А. Авакьяна, Ю.В. Арутюняна, Т.И. Заславской, Ж.Т. Тощенко, Р.Г. Яновского и др.

На современном этапе в число приоритетных тем научного поиска российских социологов входит анализ проблем адаптации мигрантов на региональном уровне, важнейшим аспектом которого

[1] См., в частности: Зайончковская Ж.А. Прогноз миграции населения // Социологический журнал. – М., 1995. – № 3. – С. 22–27; Зайончковская Ж.А. Нужны ли иммигранты российскому обществу? / Под ред. В.И. Мукомеля, Э.А. Паина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006.

является исследование факторов межкультурной коммуникации и особенностей межэтнических взаимодействий, включая проблемы диаспор. К данному направлению можно отнести работы М.Р. Радовель, Г.С. Денисовой, В.Н. Титова, В.Н. Петрова, С.В. Рязанцева, Ю.А. Чеботарева, А.А. Хастян и др.

В рамках настоящей тематической подборки мы собрали статьи, высвечивающие различные проблемные аспекты социокультурной адаптации как первого, так и последующих поколений иммиграции, а также отдельные работы, посвященные оценке эффективности политики мультикультурализма в управлении этнокультурным разнообразием современных государств.

Влияние объективных причин и субъективных мотивов на выбор стратегии социокультурной адаптации трудовых мигрантов, прибывающих в Анголу из Португалии, раскрывается в работе Ирэн Дос Сантос (Междисциплинарный институт современной антропологии, Париж; Научно-исследовательский антропологический центр, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон). Отмечая «иронию истории», выразившуюся в инверсии позиций метрополия–колония, автор анализирует связь миграционных процессов с постколониальной ностальгией и отражение отношений с бывшей колонией в общественном сознании португальцев.

На основе анализа принятой в Германии программы интеграции иммигрантов французская исследовательница Виржини Силуэтт-Деркур (Университет Париж XIII, Франция; Центр Марка Блока, Берлин, Германия) показывает, каким образом курсы для иностранцев из стран «третьего мира» формируют в их сознании культурные стереотипы современного западноевропейского общества потребления. Апеллируя к Ж. Бодрийяру, автор утверждает, что «мы присутствуем при настоящей “социальной дрессуре” в отношении потребления и той системы знаков, которая составляет среду обитания человеческого рода в западных обществах». При этом основным инструментом «дрессуры» выступает методика преподавания, подталкивающая учащихся к воспроизведению типичных для западноевропейского общества схем взаимодействия и усвоению ожидаемых моделей поведения.

Различия в процессах конструирования этничности и стратегиях обеспечения межпоколенческой преемственности семей, принадлежащих к автохтонному этническому большинству и имми-

грантским меньшинствам, соответственно, рассматривает в своей статье исследователь из Антверпенского университета (Бельгия) Ноэль Клик. На основе анализа нарративов проживающих в бельгийском регионе Фландрия родителей фламандского, итальянского и марокканского происхождения он демонстрирует, как интериоризированные представления о «семейных корнях», этничности и религиозной принадлежности определяют выработку стратегий передачи культурного наследия в различных этнических группах, действующих в разных контекстах и наделенных разными ролями во властных отношениях.

В широкий контекст исследования городской маргинальности и практик сопротивления горожан специалист Лёвенского католического университета Элизабетта Роза вписывает анализ специфики социокультурной адаптации цыган-мигрантов Турина и Марселя. Принципиальный отказ автора от утвердившейся в зарубежном обществознании традиции стигматизации цыган и рассмотрения данной этнической группы как пассивного, подверженного маргинализации субъекта позволяет выявить истинные черты повседневности современных «рома», увидеть «их способность к действию, взаимодействию с городом». Укоренение цыган-мигрантов в пространстве города (происходящее вопреки желанию администрации) Роза интерпретирует как форму сопротивления, в которой отражается требование гражданского признания и готовность противостоять трудностям, обусловленным неравномерностью распространения властных отношений в городском пространстве.

Подчеркнем, что на сегодняшний день конфликт вокруг иммиграции разворачивается не в плоскости обсуждения самой необходимости включения «приезжих» в общество, а в области согласования принципов, на основе которых это должно произойти. Ассимиляция, как внутренне противоречивая модель интеграционной политики, при которой группа принимает новых членов, но не те качества, которые ранее составляли содержание их жизни, жестко критикуется и фактически однозначно отвергается. Однако не меньшим нападкам повергается и альтернативная – мультикультурная модель.

Идеи мультикультурализма были сформулированы на основе либеральной теории. При этом особенности практического воплощения данной концепции варьировались от страны к стране. В то

время как в Канаде целью политики «признания гражданских прав и культурной идентичности этнических меньшинств»[1] было обеспечение мирного сосуществования дуализма французской и английской культур с верованиями аборигенов, Западная Европа использовала этот механизм для решения проблемы иммигрантов – прежде всего из исламских стран[2]. Однако реализация политики мультикультурализма в духе *laissez faire* (с фр. «позвольте делать» – невмешательство, попустительство) обернулась появлением в западноевропейских странах «параллельных сообществ». Доминирующими стратегиями социокультурной адаптации иммигрантских этнических групп с наиболее высокими показателями индекса культурной дистанции стали проблемные – «Fligt» и «Fight».

Боязнь оспорить один из основных постулатов либерализма о необходимости «культурной нейтральности» привела к «смещению бремени доказательства» в общественных дебатах о мультикультурализме. Если ранее меньшинству следовало доказать, что дополнительное право, которого оно добивается, соответствует демократическим принципам и всеобщему равенству, то теперь те, кто находит справедливым существующее положение вещей, должны приводить аргументы в пользу сохранения *status quo*.

Все это вызывает закономерное раздражение как населения, так и властных элит стран иммиграции. Основной тезис критиков мультикультурализма заключается в том, что последний «эссенциализирует» различные компоненты культуры и препятствует индивидуальной автономии. Дополняют это обвинение упреки в том, что мультикультурализм отвлекает внимание от действительно существенных проблем экономического неравенства (Р. Хансен[3]); расшатывает моральные устои «коренного населения» (К. Калдвелл[4]); косвенно способствует возрастанию угрозы международного тер-

[1] Kymlicka W. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. – Oxford: Oxford univ. press, 1995. – P. 280.

[2] Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / Под ред. М.Б. Погребинского, А.К. Толпыго. – М.: Весь мир, 2013. – С. 9–11.

[3] Hansen R. The Danish cartoon controversy: A defense of liberal freedom // International migration. – Oxford, 2006. – Vol. 44, N 5. – P. 7–16.

[4] Caldwell C. Reflections on a revolution in Europe: Can Europe be the same with different people in it? – L.: Allen Lane, 2009.

роризма (М. Филлипс[1]). Таким образом, коль скоро в терминах Дж. Александера «у мультикультурализма множество лиц»[2], то у его противников «лиц» не меньше.

В контексте усиления тенденции осуждения мультикультурной политики нам показалось целесообразным включить в тематическую подборку статьи, демонстрирующие более сбалансированный подход к соответствующей проблематике.

В своей статье Селен Эркан (Университет Канберры, Австралия) обращается к недавней истории Германии, где в первой декаде 2000-х годов «убийства чести» спровоцировали очередную дискуссию о возможности интегрировать этнические меньшинства в немецкое общество. Отмечая, что в ходе общественной полемики возобладала позиция, представляющая «убийства чести» специфическим типом насилия, свойственным только определенным культурным сообществам, автор предостерегает от некритичного принятия подобных одномерных трактовок как изображающих культурные отличия глубже, чем они есть на самом деле.

Нетривиальный подход к оценке эффективности концепции обеспечения «равенства различий» демонстрирует работа Эдди Инга (Университет Далхаузи, г. Галифакс, Канада) и Ирэн Блэмраад (Калифорнийский университет в Беркли, США). Обобщив данные шести исследований, раскрывающих особенности реализации мультикультурной политики в Канаде, Европе, Республике Маврикий и Южной Корее, они применили для рассмотрения полученного массива информации классический метод стратегического менеджмента – SWOT-анализ, с тем чтобы выявить сильные (strengths) и слабые (weaknesses) стороны современного мультикультурализма, соответствующие угрозы (threats) и возможности (opportunities) их устранения.

Рассмотреть феномен этнического разнообразия в качестве возможной предпосылки социального сплочения в современных западных обществах предлагают директор Института глобального процветания (Лондонский университетский колледж, Великобри-

[1] Phillips M. Londonistan: How Britain created a terror state within. – L.: Gibson Square books, 2006.

[2] Alexander J. Struggling over the mode of incorporation: Backlash against multiculturalism in Europe // Ethnic a. racial studies. – L., 2013. – Vol. 36, N 4. – P. 531–556.

тания) Генриетта Мур и ее коллега Николай Минчев. Вразрез с общепринятой точкой зрения, согласно которой несовпадение этнокультурных традиций провоцирует межгрупповые конфликты, авторы, продолжая линию известного социального антрополога С. Вертовека[1], утверждают, что определенный тип этнической диверсификации в мультикультурных пространствах современности способствует сближению сообществ и в перспективе создает условия для социального процветания.

Подводя итог, отметим, что адекватный ответ на вызовы глобализации и миграции требует корректировки представлений о механизмах социокультурной адаптации в иноэтничной среде. Необходимо сосредоточить внимание на взаимодействии факторов расы и этничности, с одной стороны, и совокупности таких параметров, как экономический, социальный, культурный и символический капиталы, – с другой. Это, в свою очередь, обусловливает теоретическую и практическую значимость дальнейших исследований в области оценки долгосрочных перспектив сосуществования и взаимодействия различных культурных сообществ, трансформации мультикультурных практик.

2017.03.001. ДОС САНТОС И. АНГОЛА – ЭЛЬДОРАДО ДЛЯ ПОРТУГАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ? ВООБРАЖАЕМЫЕ МИРЫ И ОПЫТ МОБИЛЬНОСТИ В ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
DOS SANTOS I. L'Angola, un Eldorado pour la jeunesse portugaise? Mondes imaginés et expériences de la mobilité dans l'espace lusophone // Cahiers d'études africaines. – P., 2016. – Vol. 221, N 1. – P. 29–52.

Ключевые слова: социальные представления; Португалия; Ангола; экономическая миграция; трудовая мобильность; португалоязычный мир.

В работе Ирэн Дос Сантос (Междисциплинарный институт современной антропологии, Париж, Франция; Научно-исследовательский антропологический центр, Новый Лиссабонский университет, Лиссабон, Португалия) описываются причины и мотивации современной трудовой миграции португальцев в Анголу, а также

[1] Vertovec S. Super-diversity and its implications // Ethnic a. racial studies. – L., 2007. – Vol. 30, N 6. – P. 1024–1054.

анализируются связь миграционных процессов с постколониальной ностальгией и отражение отношений с бывшей колонией в общественном сознании португальцев.

Объектом исследования стали португальцы, работающие в Анголе. Эмпирическую основу исследования составили данные полевых наблюдений и проведенных автором неструктурированных интервью.

К изучению соответствующей проблематики автора подтолкнуло фиксируемое с начала 2000-х годов прогрессивное увеличение численности португальцев, проживающих в Анголе. На момент написания статьи их насчитывалось около 115 тыс. [с. 30]. Они составляли третью по численности группу иностранцев в стране (после китайцев и бразильцев). Экономическую миграцию в бывшие колонии (кроме Анголы миграционные потоки из Португалии идут в Бразилию и Мозамбик) называют «иронией истории», отмечая произошедшую инверсию позиций метрополия–колония, а также отношений Север–Юг. Португалия – одна из наиболее пострадавших от кризиса стран Европы, тогда как экономика бывшей колонии Анголы является самой быстрорастущей среди государств Африки южнее Сахары[1]. При этом нельзя не учитывать политиче-

[1] Для понимания специфики современного процесса перемещения португальцев в Анголу следует учесть, что та являлась колонией Португалии с конца XV в. до 1974 г. После Второй мировой войны вопреки процессу деколонизации, охватившему страны Африки, режиму португальского диктатора Салазара удалось удержать Анголу в состоянии колониальной зависимости, пойдя лишь на незначительные уступки. С 1961 по 1975 г. в стране шла война за независимость; после «революции гвоздик» в Португалии и отказа от своих колоний (1974) – гражданская война (1975–2002). В 1975 г. 350 тыс. португальцев были вынуждены покинуть Анголу. Определенный экономический рост фиксировался в стране уже в период между 1961 г. и началом гражданской войны. С завершением последней начался экономический бум, обусловленный интенсивным развитием сектора добычи нефти. На сегодняшний день ангольская экономика занимает третье место среди африканских стран, расположенных южнее Сахары. Тем не менее она до сих пор носит преимущественно сырьевой характер: промышленность и сельское хозяйство не развиты, 95% экспорта составляют доходы от продажи нефти. Показатели экономического развития и уровня жизни населения крайне низки, 70% живет ниже порога бедности. Начавшаяся в конце 1990-х годов интернационализация экономики выразилась, в числе прочего, в увеличении инвестиций за рубеж, в частности в Португалию. Рост объемов этих инвестиций с 2006 по 2007 г. привел к зависимости Португалии от ангольских элит. – *Прим. реф.*

ский аспект миграции, которая происходит с одобрения олигархического режима президента Ж.Э. душ Сантуша, находящегося у власти с 1979 г. а также тот факт, что приезжает в основном образованная португальская молодежь, тогда как 90% ангольского населения не относятся ни к элите, ни к среднему городскому классу, и режим блокирует возможности восходящей мобильности. Противники нынешнего режима полагают, что властям безопаснее импортировать специалистов, чем давать образование собственному народу.

Респонденты настоящего исследования различались по: статусу пребывания в стране (экономические мигранты, экспаты, потомки «retornados» (вернувшихся), обладатели двойного гражданства); срокам и режиму пребывания (постоянный, временный или «маятниковый»); профессиональным навыкам (инженерно-технические специалисты, архитекторы, специалисты финансового сектора, юридические консультанты, предприниматели, работники сферы услуг). Тем не менее в их рассказах прослеживались три общих черты: они настаивали, что находятся в Анголе по собственному выбору, а не вынужденно; утверждали, что эта страна для своего развития нуждается в их знаниях и умениях; подчеркивали, что, поехав работать в Анголу, они бросили вызов, совершили подвиг, на что способны далеко не все их сограждане. Подобная риторика призвана работать на «героизацию» трудовой миграции португальских специалистов, выведение этого процесса за границы простой экономической целесообразности.

Трудовая миграция в Анголу непроста, несмотря на принадлежность обеих стран к португалоязычному миру. Условия проживания в стране скромны в смысле удобств и комфорта. Получение визы осложнено формальностями, ее продолжительность ограничена, возобновление связано с трудностями, в связи с чем некоторые респонденты сделали попытки получить ангольское гражданство (не отменяющее португальское). Кроме того, с 2010 г. власти страны, осознав, что в связи с экономическим кризисом Португалия может «импортировать» к ним свою безработицу, издали протекционистские законы в отношении местной квалифицированной рабочей силы. Однако это не остановило поток португальских «гастарбайтеров», начавшийся после окончания гражданской войны в 2002 г. Характер миграционного обмена между двумя страна-

ми, по мнению автора, зависит от двусторонних отношений между ними и состояния их экономик. Так, падение цен на нефть летом 2015 г. вызвало снижение доходов Анголы, что спровоцировало значительное сворачивание государственных строительных проектов и соответствующий отток части португальских специалистов.

Автор выделяет среди респондентов два типа: 1) классический «экономический мигрант», который бежит от тяжелой экономической ситуации на родине, от угрозы опуститься по социальной лестнице; 2) квалифицированные кадры, обладающие очень высокой степенью мобильности; срок их пребывания варьируется от трех месяцев до трех лет, своего рода экспаты-космополиты. При этом И. Дос Сантос отмечает, что в реальности граница между выделенными категориями довольно размыта.

Мощное проникновение ангольских капиталов в экономику европейских стран заставляет молодых квалифицированных португальских специалистов рассматривать опыт работы в Анголе как своего рода перспективное вложение, поскольку он может стать трамплином для их последующей успешной карьеры в Европе. В объяснении причин своего приезда многие респонденты стремились избегать упоминаний об экономическом кризисе в Европе, с тем чтобы не придать своим действиям характер вынужденных. Из их рассуждений вырисовывалась бинарная оппозиция мотивов профессиональной мобильности: квалифицированная трудовая мобильность по свободной воле, повышающая их положение и статус в обществе и в собственных глазах *versus* вынужденная экономическая мобильность, подрывающая их статус, представляющаяся унизительной.

Также интервьюируемые в большинстве своем возражали против определения самих себя как «эмигрантов» в силу вызываемых данным термином негативных коннотаций в массовом сознании португальцев. Обычно он связывается с неграмотными крестьянами, покинувшими страну в 60–70-х годах XX в. и появляющимися в родной деревне раз в год на праздник, демонстрируя напоказ приметы своего преуспевания.

У одних респондентов присутствует желание в случае успеха осесть, связать свою жизнь и профессиональную карьеру с Анголой. Другие же, напротив, считают свою работу на Черном континенте временной. При этом большинство настроенных на обрете-

ние ПМЖ в Анголе респондентов противопоставляют себя некоему обобщенному образу португальского экспата, «неоколониалиста», приехавшего воспользоваться богатствами страны по соглашению с ангольским олигархатом. И это осуждение указывает на потенциально конфликтную точку в португальском обществе: между смешанными португало-ангольскими семьями, оставшимися в стране после провозглашения независимости и составившими элиту, и «белыми» португальцами, недавно приехавшими в страну.

Приезд португальцев в Анголу поднимает также тему сохраненных репатриантскими семьями связей, их отношения к Африке, памяти о ней, а также о совместном прошлом, чему посвящена вторая часть статьи. В данной статье не ставится задача исследовать память о колониальном прошлом в португальском обществе; описываются лишь те аспекты коллективных представлений о нем, которые лежат в основе мобильности современной португальской молодежи.

В Португалии тема освобождения от колониальной зависимости является табуированной, при этом присутствует ностальгия по империи. «С момента утраты собственной империи Португалия не оставляла попыток воссоздать модель своего присутствия в мире: через национальную «диаспору», а также выстраивая «португалоязычное пространство» (институционализированное в 1996 г. через создание Содружества португалоязычных стран)» [с. 42]. По мнению антрополога Стивена Любкеманна[1], «“возвратившиеся”[2] участвовали начиная с 1990-х годов в поиске и воссоздании национальной постколониальной идентичности. В тенденции к расширению португальского присутствия в мире они усматривали способ представить свою идентичность в более выгодном свете» [с. 42]. «Память о колониальном прошлом» со свойственными ей позитивной трактовкой и идеализацией становится заметной в португальском обществе в 2000-е годы, когда она переходит из частной, семейной сферы в общественную; это находит выражение в появлении автобиографических романов, документальных филь-

[1] Lubkemann S. The moral economy of Portuguese postcolonial return // Diaspora: A j. of transnational studies. – N.Y., 2002. – Vol. 11, N 2. – P. 189–213.

[2] «Retornados» – термин, обозначающий португальских колонистов, вернувшихся в Португалию из Анголы после обретения ею независимости. – *Прим. реф.*

мов, сериалов, представляющих трагический взгляд на травматичный опыт возвращения. При этом, отмечает автор статьи, африканские мигранты, проживающие в Португалии с 1980-х годов, так и не подняли «колониальный вопрос», чтобы разоблачить дискриминацию и расизм.

Беседы с репатриировавшими семьями респондентов показали, что существует сильная ностальгия по их жизни в Африке, воспринимаемой как «утраченный рай». Их рассказы воспроизводят идеализируемое прошлое; при этом акцент делается на интенсивной общественной жизни португальских семей и на особом отношении колонистов к Африке, ее природе и населению[1]. У них присутствует чувство, что, уехав из Анголы, они «покинули цивилизацию» [с. 43]. Опыт колониальной жизни до сих пор остается маркером этой группы по отношению к другим португальцам. В течение 40 лет их связь с Анголой поддерживалась путем сохранения и воспроизведения воспоминаний, фотографий, африканских предметов для украшения интерьера, пищевых практик; они сохранили связи между семьями, практики общения; ежегодно организуются встречи ассоциаций репатриантов. Кроме эмоциональных связей некоторые семьи сохранили социальные связи через оставшихся в Анголе или живших на две страны родственников; в основном речь идет о смешанных семьях.

У всех респондентов, происходящих из семей репатриантов, при объяснении причин приезда в Анголу в большей или меньшей степени проскальзывали ссылки на семейную историю, связанную с этой землей. Хотя не удалось определенно доказать, что их приезд осуществлялся с опорой на семейные связи с этой страной. Большинство респондентов были вывезены из Африки в раннем детстве и не сохранили воспоминаний о ней. Это избавляет их от

[1] В 1950-е годы бразильский социолог Жилберто Фрэйре (Gilberto Freire) сформулировал теорию так называемого лузотропикализма (lusotropicalisme), согласно которой португальцы являются лучшими колонизаторами из всех европейских народов. В качестве доказательств приводилась продолжительность существования португальской империи, ее цивилизационная миссия, склонность португальских колонистов к метисации. Теория была взята на вооружение «новым государством» Салазара с целью оправдания колонизаторской политики Португалии во время антиколониального движения после Второй мировой войны. – *Прим. реф.*

присущего старшему поколению опасения разочароваться при столкновении воспоминаний с реальностью. Они лишь сопоставляют рассказы старших с ангольской реальностью, отмечая отсутствие ожидаемого налета европейской цивилизованности и неожиданно большую долю африканской аутентичности. Автор наблюдает у них «выстраивание отношения к этой территории, основанного на чувстве принадлежности к стране, но скорее к ее будущему, чем к ее прошлому» [с. 44].

При этом наличие ангольского гражданства воспринимается теми, у кого оно имеется, как экономический капитал и капитал мобильности. Оно позволяет остаться в стране дольше, чем на три года (срок длинной визы), и дает возможность строить планы на перспективу. Один из таких респондентов говорит, что в Португалии он не чувствовал свою причастность к решению общественных проблем, тогда как в Анголе у него возникло ощущение своей принадлежности к новому формирующемуся обществу. «Чувство принадлежности и желание вписаться в коллективный проект» [с. 44], сопровождающие обладателей ангольского гражданства, не присутствовали у респондентов-экспатов, лишенных семейных связей с Анголой. Они отмечают, что не хотели бы жить и работать тут постоянно, подчеркивают профессиональные и экономические причины своего нахождения в стране.

Анализ полученных интервью позволяет автору заметить еще одну разделительную линию – отношение выходцев из семей репатриантов к семейному прошлому в колониальной Анголе. Когорта «дистанцирующихся» воспринимает его как нечто постыдное, избегая в разговоре этой темы. Они производят впечатление людей, «воспринявших официальную установку страны, повернувшейся спиной к прошлому» [с. 45]. «Принимающие» охотно и с гордостью рассказывают о посещении мест, связанных с семейным прошлым, и испытанных ими эмоциях. В случае закрепления на этой земле это означает для них восстановление связи с прошлым.

В данном контексте выбор места проживания также показателен с точки зрения отношений со временем – устремленности в прошлое или будущее. Луанда в качестве столицы, места концентрации власти, средоточия событий вынуждает к бóльшим социальным взаимодействиям с элитами, связанными с режимом. Тогда как выбор одного из провинциальных городов может означать по-

пытку свести к минимуму социальные взаимодействия с сегодняшними властями.

Подводя итоги, автор отмечает перспективность дальнейших исследований миграции из Португалии в Анголу в контексте радикальной смены позиций этих стран по отношению друг к другу в сравнении с прошлым. Эмиграция в Анголу является сегодня массовым феноменом в Португалии, охватывающим все слои общества. Для многих она представляет собой «стратегию избегания процесса деклассирования, под гнетом которого находятся многие дипломированные трудовые мигранты в западных странах» [с. 47]. И «экспаты», и «мигранты» рассчитывают на восходящую социальную мобильность, а также на существенное и быстрое улучшение своего материального положения. При этом одни хотят в дальнейшем использовать накопленный социальный капитал в Португалии, другие – уже сейчас и в Анголе. Последние, как правило, имеют семейные связи с Анголой, тогда как для первых пребывание в ней означает лишь промежуточный жизненный этап и способ преодоления социальной нестабильности.

Е.Л. Ушкова

2017.03.002. СИЛУЭТТ-ДЕРКУР В. КУРСЫ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ГЕРМАНИИ: ОТ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ДО ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЮ.
SILHOUETTE-DERCOURT V. Les cours d'intégration pour étrangers en Allemagne: Entre apprentissage de la langue et éducation à la consommation // Migrations société. – P., 2016. – Vol. 166, N 4. – P. 53–66.

Ключевые слова: мигранты; интеграция; потребление; модели поведения.

В статье французской исследовательницы Виржини Силуэтт-Деркур (Университет Париж XIII, Франция; Центр Марка Блока, Берлин, Германия) анализируется, каким образом курсы для мигрантов формируют в их сознании культурные стереотипы современного общества потребления.

Ужесточение норм натурализации иностранцев в странах Европы, и в Германии в частности, произошло еще до миграционного кризиса 2015 г. Немецкий закон, принятый в 2004 г. и вступивший

в силу с 1 января 2005 г., утвердил сдачу языкового экзамена определенного уровня в качестве обязательного условия получения гражданства. Условия разнятся в зависимости от страны происхождения мигранта; при этом для выходцев из стран, не входящих в ЕС, обучение на курсах языка и интеграционных курсах является обязательным. С прибытием в конце 2015 г. более миллиона беженцев и в особенности после скандальных кёльнских событий января 2016 г. в Германии обострилась общественная полемика по вопросу интеграции иммигрантов и допустимости «навязывания» им европейских цивилизационных ценностей. Новый закон об интеграции, принятый в июле 2016 г., постулирует, что нужно не только «поощрять», но и «требовать». Всячески облегчая доступ к языковым курсам и профессиональному образованию, он запрещает прибывшим в страну беженцам менять закрепленное за ними место жительства и обязывает их посещать занятия под угрозой лишения социального пособия и права на пребывание. В целом в последние годы наблюдалось неуклонное возрастание доля прибывающих лиц, обязанных проходить интеграционные курсы: 23,7% – в 2005 г., 37,6 – в 2014 г., 45,5% – в декабре 2015 г. [с. 57].

Конкретизируя предмет своего исследования, французский социолог задается вопросом: «Как контроль над мигрантами и форматирование их поведения воплощаются в повседневности занятий на интеграционных курсах?» [с. 55]. Построив выводы статьи на основе рассмотрения содержания интеграционных курсов Берлина, автор прибегла к лексическому и иконографическому анализу используемых учебных пособий, утвержденный перечень которых аналогичен для всех земель Германии.

Интеграционный курс включает 600 часов языковых занятий, которые делятся на две части. В первую (300 часов) входит овладение навыками разговорно-бытовой речи. На уроках рассматриваются такие темы, как покупки, жилье, здоровье, работа, обучение и образование детей, свободное время, социальные контакты, средства коммуникации. В рамках второго модуля (300 часов) изучается специализированная лексика: обсуждаются современные информационные технологии, общество, государство, человеческие отношения, культура, ви́дение мира. Освоившие языковую часть также должны прослушать ознакомительный курс (60 часов) для ориентации в устройстве немецкого государства, понятиях право-

вого государства, фундаментальных гражданских правах и обязанностях, истории и культуре Германии. Таким образом, интеграционный курс отличается большой продолжительностью (как правило, около десяти месяцев) и интенсивностью.

Изначально Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR), на которые ориентированы курсы, были предназначены не для интеграции иммигрантов, а для облегчения коммуникации граждан объединенной Европы. Отсюда их самохарактеристика как «открытых и недогматичных». Автор статьи считает, однако, что Компетенции «навязывают нормы изучения языка, не являющиеся нейтральными, особенно когда они применяются к мигрантам» [с. 59–60].

Интеграционный курс основывается на «деятельностной» методике изучения иностранных языков, пришедшей на смену «традиционной», а затем «коммуникативной» методике. «Деятельностная» методика ориентирована на утилитаристское, или функциональное, изучение языка. Целью провозглашается подготовка учащегося к общению и выполнению определенных задач в повседневной жизни в стране изучаемого языка. Акцент делается на «взаимодействии и развитии в данной социальной среде: человек, изучающий и использующий язык, является социальным актором, перед которым стоят не только языковые задачи в данных обстоятельствах и окружении, в конкретной сфере действия» [с. 60]. Соответственно, курсы «прорабатывают» ситуации, в которых обучающийся окажется с наибольшей вероятностью и которые требуют предсказуемого использования языка. Отсюда использование аутентичных текстов в качестве учебных пособий (материалы прессы, объявления и др.) и ролевых игр с имитацией ситуаций.

Интеграционные курсы, по мнению автора, с одной стороны, выполняют квазигуманитарную функцию, сопровождая мигранта и помогая ему преодолевать трудности; с другой стороны, эта разновидность помощи выступает как способ контроля над людьми, слишком сильно отличающимися от культурной и социальной нормы принимающей страны, и сближения их с автохтонным населением. Задача языковой политики в данном случае – форматирование (переформатирование) ментальных структур мигрантов и утверждение власти государства над кандидатами на натурализацию. А курсы выступают как инструмент интеграции путем вне-

дрения специфически немецких культурных схем. Предполагается, что учащиеся «должны в какой-то степени забыть о своей предыдущей жизни и освоить азы немецкой бытовой культуры», считает автор [с. 62]. Вышеозначенная цель достигается за счет того, что в ходе обучения воспроизводятся «типичные» для немецкого общества ситуации. Погружению иммигранта в среду способствуют продолжительность и интенсивность интеграционного курса, штрафные санкции за пропуск занятий.

Потребление во всех его аспектах служит основной темой уроков. Более половины учебного времени выделяется на обсуждение предметов и мест потребления, а также связанных с ним практик и ритуалов, таких как совершение покупок, питание, одежда и мода, пользование транспортом, банками, защита своих потребительских прав, учеба детей. Отрабатываются различные потребительские практики, как то: приготовление еды, приглашение друзей на барбекю, питание в ресторане, посещение кинотеатра и дискотеки, посещение парикмахерской, макияж, совершение покупок и т.п. Затрагивается тема праздников, отмечаемых в немецком обществе, стандартного поведения на них и подарков, которые принято дарить. Объясняются также культурные черты и ценности немецкого народа, как, например, пунктуальность. Эти уроки «прочитываются» автором как «предписание [мигрантам] “помнить о своем месте” и желание внушить “хорошие манеры” людям, у которых подразумевается их отсутствие» [с. 65]. Апеллируя к «Обществу потребления» Жана Бодрийяра[1], В. Силуэтт-Деркур утверждает, что «мы присутствуем при настоящей “социальной дрессуре” в отношении потребления и той системы знаков, которая составляет среду обитания человеческого рода в западных обществах» [с. 63]. При этом основным инструментом превращения мигранта в западного потребителя является не учебная лексика, а методика преподавания, в соответствии с которой учащимся предлагается ознакомиться с ситуативными диалогами, снабженными соответствующей иконографией, а затем, распределив роли, разыграть аналогичные сценки. Тем самым их подталкивают к воспроизведению типичных для не-

[1] Baudrillard J. La société de consommation: Ses mythes, ses structures. – P.: Gallimard, 1970.

мецкого общества схем взаимодействия и усвоению ожидаемых моделей поведения.

В ответ на принуждение некоторые мигранты выказывают сопротивление, используя такие стратегии, как отрицание «очевидных» вещей, излагаемых в курсе, отказ разыгрывать какие-то ситуации по предписанным схемам. Но соответствующие курсы обязательны (за редким исключением) для всех иностранцев, въезжающих в Германию после первого января 2005 г. и не обладающих начальными знаниями немецкого языка. Их успешное завершение является одним из условий натурализации. Так что допустимая свобода маневра иммигрантов в области взаимодействия с интеграционными институтами государства невелика.

Программа интеграции мигрантов в Германии, с одной стороны, отражает готовность властей принять и сопровождать приезжих, с другой – желание контролировать и стремление навязывать культурные схемы. И в этом плане она в полной мере соответствует двойственной позиции европейского общества в отношении современного миграционного кризиса и проблемы интеграции инокультурных иммигрантских меньшинств.

Е.Л. Ушкова

2017.03.003. КЛИК Н. «ОТ ЭТОГО НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ. ЭТО У ТЕБЯ В КРОВИ»: НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ И СТРАТЕГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СЕМЕЙНУЮ И ВНУТРИГРУППОВУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ.

CLYCQ N. «You can’t escape from it. It’s in your blood»: Naturalizing ethnicity and strategies to ensure family and in-group cohesion // Ethnography. – L., 2015. – Vol. 16, N 4. – P. 373–393.

Ключевые слова: этнокультурная преемственность; язык; религия; власть; стратегии; «белая раса» (whiteness).

Исследователь из Антверпенского университета (Бельгия) Ноэль Клик посредством анализа нарративов проживающих в бельгийском регионе Фландрия родителей фламандского, итальянского и марокканского происхождения изучает процессы конструирования этничности в семьях, принадлежащих к этническому большинству и меньшинствам соответственно, и, в частности, какие стратегии они используют для обеспечения межпоколенческой преемственности.

Респонденты должны были рассказать, какие именно элементы собственной этнокультурной идентичности они хотели бы передать своим детям. Автор статьи демонстрирует, как интериоризированные представления о происхождении, этничности и религиозной принадлежности определяют выработку стратегий передачи культурного наследия в различных этнических группах, действующих в разных контекстах и наделенных разными ролями во властных отношениях.

Открывается статья фрагментом нарратива 29-летней респондентки, давшим название всей работе. Ее родители родились в Италии, а она сама уже в Бельгии. По ее словам, в детстве и юности она не желала иметь со своей исторической родиной ничего общего, однако со временем «осознала», что «от этого никуда не деться», поскольку «это в крови», и все, что она делает, она делает «поитальянски». Клик ставит себе задачу проанализировать: 1) как респонденты обсуждают концепции этничности, культуры и религии; 2) как семейные стратегии, направленные на обеспечение межпоколенческой этнокультурной преемственности, соотносятся с концепциями этничности и власти; 3) как родители «легитимизируют» данные стратегии. Всего в исследовании приняли участие 42 человека.

Как указывает автор, будучи частью тех или иных групп и действуя в определенных полях, индивиды интериоризируют когнитивные схемы, описывающие социальные и символические границы, характерные для данных групп и указывающие на культурные сходства и различия. В итоге возникает ощущение, что эти представления – «в крови». Клик напоминает, что двумя ведущими теориями этничности являются конструктивизм и примордиализм. Средняя линия исследует «социальное конструирование примордиальности»: те или иные практики и репрезентации являются социальными конструкциями, но ощущаются как естественные и самоочевидные [1]. Этническая идентичность поддерживается за счет ежедневного «этнического» поведения («doing ethnicity», иначе

[1] Yelvington K. Ethnicity as practice? A comment on Bentley // Comparative studies in society a. history. – Cambridge, 1991. – Vol. 33, N 1. – P. 158–168; Gil-White F. How thick is the blood? The plot thickens..: If ethnic actors are primordialists, what remains of the circumstantialist / primordialist controversy? // Ethnic a. racial studies. – L., 1999. – Vol. 22, N 5. – P. 798–820.

«doing race», «doing difference»)[1]. Так что можно утверждать, что данный феномен – это взаимодействие восприятия, репрезентации и практики. Однако нельзя забывать и о воздействии властных отношений.

Разные индивиды и группы обладают различным социальным, культурным и экономическим капиталом. Существенная привилегия доминирующих групп состоит в том, что они могут воздействовать на репрезентацию социальной реальности и определять, что является в данном обществе «нормой» и «ценностью», а что – «патологией» и «проблемой». На основе подобных идей была разработана «теория белой расы» (whiteness theory)[2]. Представление, согласно которому существует группа людей, наделенных благодаря их происхождению б*о*льшими в сравнении с остальными правами, интериоризируется, и оспорить его легитимность оказывается отнюдь не просто. Поддержание примата «белой расы» может осуществляться и на государственном уровне. Различные авторы[3] исследуют, как подобные представления передаются от родителей к детям и как дети усваивают их уже в раннем возрасте. При этом нарративный анализ в противовес изучению социальных структур позволяет, по мнению автора, добиться лучшего понимания процессов смыслообразования. Любопытным частным случаем данного явления служит происходящее со временем «побеление» («whitening») отдельных этнических групп. Так, ирландцы и итальянцы в США изначально не воспринимались как белые и порой вызывали большее неприятие, даже чем чернокожие; сейчас же они являются частью «белой группы». Такими же «другими» в современной Европе выступают мусульмане, но в от-

[1] West C., Fenstermaker S. Doing difference // Gender a. society. – L., 1995. – Vol. 9, N 1. – P. 8–37; Sallaz J.J. Talking race, marketing culture: The racial habitus in and out of «apartheid» // Social problems. – Oxford, 2010. – Vol. 57, N 2. – P. 294–314.

[2] См.: Macmullan T. Habits of whiteness: A pragmatist reconstruction. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009.

[3] См., например: Parents' ethnic–racial socialization practices: A review of research and directions for future study / Hughes D., Rodriguez J., Smith E.P., Johnson D.J., Stevenson H.C., Spicer P. // Developmental psychology. – Wash., 2006. – Vol. 42, N 5. – P. 747–770; Connolly P. Using survey data to explore preschool children's ethnic awareness and attitudes // J. of early childhood research. – L., 2011. – Vol. 9, N 2. – P. 175–187.

личие от вышеупомянутых групп, они «вечно другие», и их «побеления» трудно ожидать. Эти вопросы Клик далее анализирует подробно.

По его словам, Фландрия представляет собой сложный контекст для изучения конструкций идентичности и этнических отношений, учитывая непростые взаимоотношения Брюсселя, Фландрии и Валлонии. Фламандская идентичность конструируется вокруг нидерландского языка и католицизма (подтверждением последнего факта служит, например, то, что порядка 65% фламандских учащихся посещают именно католические школы [с. 377]). Марокканцы и итальянцы составляют значимые меньшинства, насчитывая 15 и 5%, соответственно. Итальянцы делят религию с фламандцами, тогда как исповедуемый марокканцами ислам в целом воспринимается как чуждый западной и европейской идентичности. Хотя поначалу итальянских иммигрантов встретили во Фландрии более чем прохладно, с прибытием турецких и марокканских гастарбайтеров произошло значительное «побеление» итальянской этнической группы. Фламандцы даже встали «на защиту» итальянцев, выступив против открытия турками итальянских пиццерий.

Символические различия, отмечает автор, часто сопрягаются с социальными и экономическими. В то время как за чертой бедности живут или рискуют за ней оказаться около 10% этнических фламандцев, среди итальянских мигрантов таковых порядка 20%, среди марокканских мигрантов – более 50%.

В отношении методологии автор сообщает, что ключевым для него был феноменологический метод, т.е. интерпретация феноменов с точки зрения смыслов, которыми их наделяют люди. Кликом были проведены полуструктурированные глубинные интервью; гайд интервью включал в себя вопросы, касавшиеся конструирования идентичности, семейной жизни и межпоколенческих отношений. Первые респонденты рекрутировались через социальные службы и этнические организации, далее выборка формировалась методом снежного кома. Из 42 респондентов (24 женщины, 18 мужчин) 15 состояли в гражданском партнерстве, остальные были женаты. В профессиональном отношении участники исследования представляли самые различные сферы; наиболее высокий

образовательный уровень был характерен для этнических фламандцев.

В отличие от респондентов итальянского и марокканского происхождения, фламандцы практически не ссылались на свою этническую принадлежность; их отношение к данным вопросам было необходимо специально прояснять в ходе интервью. Итальянские мигранты, напротив, постоянно указывали на свое происхождение, утверждая, что, хотя у них немало друзей среди бельгийцев, настоящая эмоциональная связь возможна только со «своими». Итальянцы стали почти «незаметной» частью «белого большинства», так что им необходимо подчеркивать свою этничность. Данный феномен нашел отражение в теории «этнического выбора» М. Уотерс[1]. Марокканцы, в свою очередь, делали акцент на своей «этнической» гордости, особо проявляющейся в ситуации дискриминации, и утверждали, что хотели бы передать ее своим детям.

Язык и религия играют основополагающую роль в процессах этнокультурной преемственности. И итальянским, и марокканским родителям представляется исключительно важным, чтобы их дети говорили на языке предков. Из стратегий, избираемых для обеспечения языкового наследования, респонденты называли покупку аудиокниг с итальянскими / берберскими сказками, установку спутниковой тарелки, с тем чтобы дети могли смотреть мультфильмы на итальянском / берберском (либо арабском) языке, устройство «этнического» уголка – пространства в доме, где бы дети говорили только на родном языке их семьи. Однако наиболее существенная стратегия – это, безусловно, частичное препоручение заботы о детях бабушкам и дедушкам, которые лучше среднего поколения владеют родным языком, а порой и вообще не говорят на нидерландском языке. В возрасте трех лет дети начинают посещать детский сад, где погружаются во фламандскую атмосферу и где общение происходит практически исключительно на государственном языке, поэтому, по словам респондентов, важно, чтобы до этого возраста дети хотя бы начали осваивать родной язык семьи. В некоторых семьях заметна разница в языковой компетенции ме-

[1] Waters M.C. Ethnic options: Choosing identities in America. – Berkeley: Univ. of California press, 1990.

жду братьями и сестрами, проводившими в детстве разное количество времени с бабушками и дедушками. При этом бабушки и дедушки, не владеющие нидерландским языком, просто не могут общаться со своими внуками, если те не говорят на их языке.

Религиозная преемственность видится важной родителям из всех трех рассматриваемых этнических групп, прежде всего с точки зрения поддержания межгрупповых границ. Так, и фламандские, и итальянские родители не желают, чтобы в будущем их дочери (в первую очередь, именно дочери) выбирали в качестве спутников жизни мусульман. 35-летний итальянец объясняет это тем, что у тех совсем иной образ жизни, а 47-летняя фламандка ссылается на характерное для мусульман «притеснение женщин». Марокканские родители косвенно подтверждают это опасение, утверждая, что не имеют ничего против фламандских невест для своих сыновей, но при этом напоминают, что девушке, входящей в мусульманскую семью, желательно принять ислам.

Далее автор подробнее останавливается на вопросе социокультурного капитала доминирующей этнической группы. Во Фландрии, сообщает он, знание нидерландского языка рассматривается государственными службами в качестве основного показателя интеграции мигрантов. Уже в раннем возрасте все дети должны демонстрировать утвержденный уровень владения государственным языком. 35-летняя респондентка итальянского происхождения рассказывает, что ее родители стремились сначала обучить ее итальянскому языку, будучи уверенными, что нидерландский она обязательно освоит, что и произошло, и вопреки негативным прогнозам властей относительно ее будущего она получила высшее образование и устроилась на «хорошую работу». Так, по мнению автора, патологизируются родители-мигранты, а их представления о воспитании объявляются скорее причиняющими детям вред, нежели пользу. Другой характерной чертой фламандского образа жизни является католицизм. И если итальянским семьям это вполне подходит, то марокканские семьи здесь сталкиваются с проблемами. Как рассказывает 35-летний респондент марокканского происхождения, его дети в школе празднуют Рождество и другие христианские праздники и потом недоумевают, почему у них дома нет елки и пр.; по его словам, он хотел бы отправить детей в мусульманскую

школу, где они получили бы все необходимые знания, но у него нет такой возможности.

С точки зрения Клика, лучше всего проиллюстрировать доминирующие этнокультурные представления могут гендерные отношения в их связи с этничностью и религией. Когда итальянские и марокканские респонденты говорят о внутригрупповых, в частности гендерных, различиях, они относят их на счет своего этнического происхождения (как то: «сыновья у нас, марокканцев, пользуются большей свободой, чем дочери»). Фламандцы никогда не объясняют подобные различия своей этничностью. Обсуждая гендерный дисбаланс в марокканских семьях, фламандцы и итальянцы ссылаются не на их марокканское происхождение (это было бы проявлением расизма), а на ислам. Сами марокканцы воспринимают свою религиозную принадлежность как нечто само собой разумеющееся и не связывают с ней наличие гендерных различий в своих сообществах.

В данной работе, подводит итог Н. Клик, исследовались усилия родителей как активных агентов, воспроизводящих и трансформирующих различные этнокультурные границы и социальные категории. Важную роль в данном процессе играют властные отношения, оказывающие воздействие на то, какие именно стратегии поддержания этнической преемственности будут избраны. Однако для полноты представления, отмечает исследователь, необходимо проанализировать, как сами дети реагируют на эти стратегии и в какой мере они вообще испытывают влияние родителей.

Я.В. Евсеева

2017.03.004. РОЗА Э. СКРЫТЫЕ ПРАКТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЫГАН-МИГРАНТОВ В ТУРИНЕ И МАРСЕЛЕ.
ROSA E. Pratiques discrètes de résistance des migrants roms à Turin et à Marseille // Cultures a. conflits. – P., 2016. – Vol. 101, N 1. – P. 19–34.

Ключевые слова: цыгане; маргинальность; сопротивление; нестабильность; город; городское пространство; практики.

В рамках тематического номера журнала «Cultures & conflits», посвященного городской маргинальности и проявлениям сопротивления горожан, Элизабетта Роза (Лёвенский католический

университет, Бельгия) пытается обосновать уместность подобной постановки вопроса в отношении цыган-мигрантов. В зарубежном обществознании данная этническая группа рассматривается преимущественно в качестве пассивного субъекта, подверженного маргинализации, лишениям и прочим рискам нестабильного существования. При этом не принимаются в расчет «компетенции цыган, их способность к действию, взаимодействие с городом» [с. 20]. Обращаясь к «цыганской теме», большая часть исследователей, как, впрочем, и политиков-практиков, прибегает к «групповому обобщению», навешиванию этнических ярлыков, что препятствует выявлению истинных особенностей повседневных практик современных «рома» и применяемых ими стратегий освоения городского пространства.

Статья опирается на этнографическое исследование (2013–2014), проводившееся среди цыган-мигрантов из окраинных районов Турина и трущоб вокруг Марселя, в ходе которого использовались методы наблюдения и неструктурированного интервью. В «туринском» таборе насчитывалось около 800 жителей, в трущобном квартале – не менее 400 [с. 23–24]. В основном это были выходцы из стран Восточной Европы, большей частью из Румынии, перебиравшиеся в европейские города в середине 2000-х годов. Основной задачей исследования было изучить, каким образом цыгане «пользуются» городом, перемещаются по нему, устраиваются в нем.

В своей попытке расширения классической трактовки сопротивления как активного противостояния властным отношениям автор ссылается на подход Стива Пила[1], который предлагает отойти от привычной дихотомии «власть – сопротивление» и с позиции критической географии попытаться понять, каким образом сопротивление создает альтернативные пространства в обыденной жизни.

В обоих городах имеются своеобразные «точки притяжения» цыган: незастроенные пространства, нежилые здания, трущобные кварталы, заброшенные промзоны. Именно неиспользуемые и оставленные пространства, не несущие жилую и производительную функцию, к которым муниципальные власти и застройщики не

[1] Pile S. Introduction // Geographies of resistance / Ed. by S. Pile, M. Keith. – L.; N.Y.: Routledge, 1997. – P. 1–32.

проявляют интереса, дают цыганам возможность существовать в городе. Часто речь идет о территориях, отведенных под строительство, которое по каким-либо причинам оказалось отложено.

Политика городских властей обоих городов в отношении цыган-мигрантов различна. В Марселе достаточно регулярно проводятся весьма жесткие акции по выдворению цыган из захваченного или самовольно построенного ими жилья, что способствует их рассеянию в городе. В Турине же выселение цыган не предполагает отделения последних от системы госуслуг (здравоохранения, школьного образования и т.п.). Возможность поддерживать контакты с местной администрацией создает предпосылки для анклавной самоорганизации цыган. При этом в обоих случаях цыгане сопротивляются попыткам вытеснить их из города, находя новые места обитания, создавая или обустраивая жилища, обзаводясь предметами повседневного обихода и т.д.

Наблюдение за повседневными практиками цыган в городе позволяет, по мнению автора, отойти от традиционной бинарной оппозиции: власть – сопротивление. Эти практики указывают скорее на повседневное «скрытое сопротивление» испытаниям [с. 21], выражающееся во взаимодействии различных акторов, существующих в городском пространстве. Они сопротивляются собственному маргинальному положению и нестабильности существования.

При первом взгляде на жилища цыган-мигрантов становится очевидно, что процесс их возведения и обустройства носит дискретный характер: облик дома определяется тем, когда и какой именно материал удастся раздобыть. В подобных жилых постройках прочитывается своего рода «адаптация к обыденности кризиса» [с. 25]. Автор отмечает, что понятие «нестабильности» (précarité) относится как к жилищным условиям цыган, выражаясь в непрочности и убогости жилья и в вероятности быть выселенным из него, так и к их ситуации в целом. Речь идет о социально-экономической, аффективной и психологической ненадежности, неопределенности, охватывающей все сферы их существования.

Даже удовлетворение одной из базовых человеческих потребностей – в питье – представляется для цыган затруднительным в силу отсутствия водопровода. Удачное расположение на берегу реки избавляет «туринский» табор от проблем с мытьем посуды и стиркой. Кроме того, для личной гигиены цыгане табора посещают

общественные бани. Питьевая вода набирается из многочисленных городских фонтанов. В Марселе ситуация с водой более напряженная ввиду отсутствия водоема вблизи цыганского жилья, а также малого числа общественных бань и фонтанов. Цыгане набирают воду из пожарных кранов. При этом у них формируются определенные компетенции; навыки обхода ограничений правоохранительных органов; стратегии, позволяющие решать свои проблемы, не привлекая излишнего внимания (в их числе хождение за водой рано утром или поздно вечером, использование не больших бидонов, а пластиковых бутылок и т.п.). Данные практики, выработанные цыганами-мигрантами для преодоления препятствий, существующих на пути удовлетворения их телесных потребностей, позволяют в полной мере осознать их маргинальность.

Одним из наиболее распространенных видов деятельности цыган, зафиксированных в ходе исследования в обоих городах, является разборка отходов в поисках полезных вещей. Эта практика требует хорошего знания городского пространства и ритмов жизни города для правильной организации процесса. Цыгане избегают кварталов, где раздельный сбор мусора происходит на дому, отдают предпочтение состоятельным кварталам, знают время приезда мусороуборочных машин, чтобы опередить их. Кроме того, используются рынки, магазины, торговые центры, где в конце рабочего дня торговцы избавляются от остатков продуктов, одежды, картонных упаковок. Социальная стигматизация, сопровождающая это занятие, проявляется в различных формах в отношении сборщиков мусора. В общественных местах люди их сторонятся; их собственные дети, посещающие школы, стесняются и опасаются встреч с одноклассниками либо избегают таковых.

За извлечением мусора из контейнеров следует его сортировка и продажа. В процессе сортировки отбирается металлолом, вещи в относительно хорошем состоянии, которые еще можно починить. Требуются особые умения, чтобы вернуть вещам товарный вид. Диапазон отбираемых вещей велик: кухонная утварь, одежда, обувь, предметы домашнего обихода, запасные детали для мобильных телефонов, продукты питания, книги. Большинство вещей продается впоследствии на блошиных рынках города, т.е. вещи возвращаются в легальную или нелегальную экономику. Цыганемигранты дают отходам вторую жизнь, «спасают» их, вновь запус-

кая в экономический оборот; тем самым при продаже отходов потенциально тем же людям, что их выбросили, происходит «моральная контрстигматизация» цыган [с. 29].

Деятельность цыган по сбору мусора автор предлагает интерпретировать как «постепенный захват повседневности» (a quiet encroachment of the ordinary) – термин Асефа Байя, используемый при описании мирного и плавного продвижения рядовых людей во властные отношения, отношения собственности, общественное пространство с целью улучшения условий своей жизни[1].

Социальная стигматизация цыган проявляется и в осуждении обществом нагромождения мусора вокруг их жилищ, за которым стоят опасения подрыва установленных общественных порядков, привычных жизненных устоев, гигиенических правил. В связи с этим автор указывает на особую заметность цыган и ряда их практик в городской среде при относительно небольшой численности представителей данной этнической группы: от 15 тыс. до 20 тыс. во Франции и около 60 тыс. в Италии [с. 29]. Это обстоятельство, по ее мнению, служит основанием для постановки «цыганского вопроса» и критического анализа применяемой в отношении цыган репрессивной политики.

Попрошайничество – еще один распространенный род занятий цыган-мигрантов – в данном исследовании интересовало автора с точки зрения его пространственной локализации и порождаемых им социальных взаимодействий. Изучаемые просили милостыню либо статично (стоя или сидя на ступенях или тротуаре; у выхода из магазина, церкви, торгового центра), либо перемещаясь на перекрестке, регулируемом светофором, и пользуясь скоплением машин в ритме движения транспорта. Выбор места определяется несколькими факторами, связанными прежде всего с концентрацией людей / количеством машин и со взаимоотношениями с владельцами расположенных по соседству магазинов и кафе. Тенденция к закреплению за собой постоянного места попрошайничества способствует формированию определенных отношений между цыганами и хозяевами кафе / магазинов, а также между цыганами и пешеходами. Цыгане воспринимают место, где они сидят, как

[1] Bayat A. Life as politics: How ordinary people change the Middle East. – Amsterdam: Amsterdam univ. press, 2010. – P. 43.

собственное. В случае короткой отлучки оставляют какие-то вещи, чтобы обозначить свое присутствие и принадлежность места, а при длительном отсутствии их часто заменяет кто-то из родственников. Это восприятие места попрошайничества как собственного подтверждает, по мнению автора, их претензию на некую власть над частью городского пространства. Особенно если учитывать, что, занимаясь этой практикой, они бросают вызов правилам (постановления против попрошайничества в Марселе) и политике властей, пытающейся сделать их «невидимыми» в городе (посредством вытеснения на окраины и за пределы города).

Занятия цыган вынуждают их перемещаться по всему городу – пешком, на велосипеде и на общественном транспорте. Это требует от них хорошего знания города и / или сети общественного транспорта, так как ориентиром им служат маршруты автобусов. Охват цыганами всего города при осуществлении своих практик позволяет автору говорить о том, что они незаметно, но эффективно осваивают городское пространство.

Вопреки политике, подталкивающей цыган покидать города и даже возвращаться в страну исхода, обращает на себя внимание постоянство их присутствия в городе. Обнаружение мест укоренения цыган-мигрантов в пространстве города – таков основной итог анализа их практик сопротивления. В последних находит отражение готовность цыган противостоять трудностям, обусловленным неравномерностью распространения властных отношений в городском пространстве и территориальными асимметриями. Будучи мирными и отчасти незаметными, эти практики тем не менее подрывают существующие властные отношения, считает автор.

Вышеуказанные практики свидетельствуют о способности цыган сопротивляться маргинальности, а также ограничениям и требованиям властей. Их следует рассматривать как требование признания права на проживание в городе, права считаться горожанами, для чего имеются все основания, поскольку цыгане обладают знанием городского пространства, навыками использования его ресурсов и желанием в нем укорениться. «Лишь признание этого факта, их способности действовать, их взаимодействий с городом даст возможность представить для них иное будущее, нежели нынешняя антиутопия», – заключает автор [с. 34].

Е.Л. Ушкова

2017.03.005. ЭРКАН С.А. СОЗДАНИЕ И ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ О «НЕСОСТОЯВШЕМСЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМЕ»: СЛУЧАЙ «УБИЙСТВА ЧЕСТИ» В ГЕРМАНИИ.
ERCAN S.A. Creating and sustaining evidence for «failed multiculturalism»: The case of «honor killing» in Germany // American behavioral scientist. – Beverly Hills (CA), 2015. – Vol. 59, N 6. – P. 658–678.

Ключевые слова: мультикультурализм; насилие в отношении женщин; этнические меньшинства Германии; европейские ценности; фреймы.

В статье Селен Эркан (Университет Канберры, Австралия) анализируется дискурсивная связь между «убийством чести» и «несостоявшимся мультикультурализмом» и рассматриваются факторы, способствующие формированию и поддержанию этой связи. Исследовательница обращается к изучению событий, происходивших в Германии, где в первой декаде 2000-х годов «убийства чести» стали поводом для горячих споров о крахе идеи мультикультурализма и невозможности интегрировать этнические меньшинства в немецкое общество. С. Эркан отмечает, что в ходе общественных и политических дискуссий по этому поводу возобладала позиция, в рамках которой «убийства чести» характеризовались как специфический тип насилия, свойственный только определенным культурным сообществам. При этом на периферии обсуждения оказалось рассмотрение таких убийств как универсальной формы насилия в отношении женщин, существующей во всех обществах.

«Убийство чести» совершается в отношении члена семьи в качестве наказания за нарушение принятых в данном сообществе норм. Такое убийство – это месть родственнику, который, как считается, навлекает на семью «бесчестие» и «позор». Чаще всего жертвами становятся женщины. В Германии наибольший общественный резонанс получило убийство Хатун Сюрюцю в 2005 г. Оно сыграло роль спускового крючка в новом витке дискуссий о мультикультурализме. Впоследствии одно из самых громких политических заявлений по этому вопросу сделала Ангела Меркель, выступая на молодежной конференции Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в Потсдаме в октябре 2010 г. Она публично при-

знала, что «мультикультурализм потерпел полный провал»[1]. В целом, отмечает С. Эркан, политики и СМИ, использовали «убийство чести» для того, чтобы подчеркнуть несовместимость образов жизни иммигрантских этнических меньшинств и автохтонного населения, а также «встроенность» практик угнетения женщин в исламскую культуру [с. 659]. Автор статьи задается вопросами: почему именно культурно обусловленные объяснения «убийства чести» возобладали в публичном дискурсе, как они формировались и как поддерживались?

В поисках ответов она проанализировала вторичные научные источники, посвященные обсуждаемой проблеме, а также парламентские дебаты в Бундестаге и медиадискуссии после убийства Х. Сюрюцю. В качестве методологической основы исследования ею была использована теория фреймов. С. Эркан отмечает, что в теории фреймов социальные проблемы концептуализируются как конструкты, а не как данности; кроме того, подробно рассматривается, как борьба фреймов в публичном пространстве меняет условия дебатов. Каждый фрейм предлагает особую постановку проблемы, фокусируясь на одних событиях и их причинах и отвлекая внимание от других. В случае с «убийством чести» в Германии речь идет о доминировании фрейма, акцентирующего внимание на культурных отличиях. Ситуация характеризуется с точки зрения невозможности интеграции этнических меньшинств в общество большинства, а не как общая для всех проблема насилия в отношении женщин. Автор полагает, что такой подход ведет к стигматизации и расализации иммигрантских сообществ, в то время как принимающее их общество позиционируется как свободное от гендерного насилия [с. 660].

Рассматривая историю возникновения и применения термина «мультикультурализм», С. Эркан указывает, что чаще всего он использовался при описании культурного разнообразия. В политической сфере под мультикультурализмом подразумевается особый подход к пониманию разнообразия, в рамках которого «помимо защиты основных гражданских и политических прав, гарантированных всем индивидам в либерально-демократическом государст-

[1] Merkel: «Multikulti ist absolut gescheitert» // Süddeutsche Zeitung. – München, 2010. – 16. Okt. – Zugriffsmodus: http://www.sueddeutsche.de/politik/integration-seehofer-sieben-punkte-plan-gegen-zuwanderung-1.1012736 [Zugriff am 15.03.2017.]

ве, также предоставляется определенный уровень признания и поддержки этнокультурных меньшинств в сохранении и выражении их отличающихся идентичностей и практик»[1]. Автор статьи указывает, что при использовании такого определения нельзя говорить о том, что в Германии когда-либо существовала последовательная политика мультикультурализма, поддержанная на федеральном уровне [с. 661]. Тем не менее дискуссии вокруг мультикультурализма в Германии велись с начала 1980-х годов. За эти годы термин постепенно приобрел негативное значение.

«Убийство чести» – относительно новое явление для Германии. Долгое время оно не получало должного внимания со стороны общественности и государственных структур. Например, в 2003–2004 гг. в докладе, подготовленном по результатам специального исследования Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии[2], была рассмотрена лишь практика принудительного брака, а «убийства чести» не были даже упомянуты. Однако постепенно становилось ясно, что проблему таких убийств нельзя игнорировать. Так, по некоторым данным, с октября 2004 г. по июнь 2005 г. были убиты восемь женщин, которые «обесчестили» свои семьи[3].

С. Эркан считает, что активная фаза дебатов об «убийствах чести» проходила в подготовленной социально-политической обстановке, которая сложилась под влиянием трех основных факторов. Первым фактором стало убийство 2 ноября 2004 г. в Амстердаме нидерландского кинорежиссера Тео ван Гога. Жестокую расправу над ним учинил житель Нидерландов марокканского про-

---

[1] Banting K., Kymlicka W. Multiculturalism and the welfare state: Setting the context // Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in contemporary democracies / Ed. by K. Banting, W. Kymlicka. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – P. 1.

[2] Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland: Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland / Hrsg. von U. Müller, M. Schröttle. – B.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2004. – Zugriffsmodus: https://www.bmfsfj.de/blob/94200/d0576c5a115baf675b5f75e7ab2d56b0/lebenssituation-sicherheit-und-gesundheit-von-frauen-in-deutschland-data.pdf [Zugriff am 15.03.2017.]

[3] Böhmecke M. Studie: Ehrenmord. – Tübingen: Terre des Femmes, 2005. – S. 18. – Zugriffsmodus: http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070416_TDF_Studie_Ehrenmord.pdf [Zugriff am 15.03.2017.]

исхождения, последователь радикального ислама. Тео ван Гог прямолинейно осуждал насилие в отношении женщин в мусульманском обществе. Этой теме, в частности, был посвящен его фильм «Покорность» («Submission»), за выход которого ван Гогу отомстил исламский радикал. Многие европейские политики интерпретировали убийство Т. ван Гога как конец мультикультурализма, хотя, например, в Германии, подчеркивает С. Эркан, мультикультурализм никогда не осуществлялся в качестве официальной политики.

Вторым фактором, повлиявшим на дебаты об «убийстве чести», стало обсуждение выхода в свет в 2005 г. специального выпуска известнейшего еженедельного немецкого журнала «Шпигель» под заголовком «Бесправные дочери Аллаха»[1]. В этом выпуске рассказывалось о социальных волнениях в Нидерландах после убийства Т. ван Гога и жизни женщин-мусульманок в Германии. События интерпретировались в терминах «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон), угрозы либеральному Западу и «патриархального ига» в мусульманских семьях. Выход из печати столь провокационно озаглавленного номера запустил процесс активного обсуждения проблем женщин в мусульманских семьях. С. Эркан отмечает, что вопрос гендерного равенства рассматривался только в контексте ислама, а не как цель развития любого общества. Таким образом, происходило формирование образа «другого», неспособного интегрироваться в европейское общество.

Третьим фактором, который С. Эркан называет наиболее важным, стало принятие в 2004 г. нового закона об иммиграции в Германии. Хотя закон был направлен на дальнейшее развитие культурного плюрализма и политической вовлеченности, на практике возник обратный эффект. За Германией закрепился ярлык «страны иммиграции», из-за чего споры об идентичности и принадлежности в стране только усилились. В этот же период в Германии появился контрнарратив о «параллельных обществах». Критики мультикультурализма использовали его, чтобы изобразить угрожающую картину того, как «неинтегрированные» иммигранты уходят в «параллельные миры» и отвергают западные ценности

[1] Allahs rechtlose Töchter // Der Spiegel. – Hamburg, 2004. – N 47. – Zugriffsmodus: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-36625556.html [Zugriff am 15.03.2017.]

[с. 664]. «Параллельные общества» характеризовались сильной патриархальной организацией и высоким уровнем семейного и социального контроля над женщинами[1]. Гендерные формы насилия, такие как принудительный брак или «убийство чести», использовались в качестве доказательства неразрешимого противоречия между культурами. С. Эркан полагает, что в тот период возникла сильная дискурсивная связь между «несостоявшимся мультикультурализмом», с одной стороны, и «параллельными обществами», основанными на специфических гендерных культурных практиках, – с другой. Таким образом, общественные дебаты об «убийстве чести» в Германии разворачивались в уже подготовленном политическом поле.

Трагическим символом межкультурного конфликта в немецком обществе стало убийство гражданки Германии курдского происхождения, 23-летней Хатун Сюрюцю, произошедшее в Берлине 7 февраля 2005 г. Окончив 8 классов, 15-летняя Хатун по решению семьи оставила гимназию – ее отвезли в Турцию, где насильно выдали замуж за двоюродного брата. В следующем году она приехала в Берлин, родила там сына, после чего категорически отказалась возвращаться в Турцию. Убийство тремя выстрелами в голову совершил ее 18-летний брат, который был выбран для этого специально, поскольку в семье решили, что благодаря возрасту немецкий суд накажет его не столь строго. Преступление было квалифицировано как «убийство чести», после чего все подобные случаи стали именоваться таким образом.

С помощью фрейм-анализа С. Эркан показала, как различные политические силы репрезентировали «убийство чести», какие решения они предлагали и к каким действиям призывали. Она провела качественный анализ дебатов в парламенте, парламентских докладов, внесенных предложений и пресс-релизов политических партий за 2005–2012 гг. Поиск по ключевому слову «убийство (а) чести» позволил получить 95 документов. С. Эркан выделила три частично пересекающихся друг с другом фрейма.

Фрейм «“Убийство чести” как индикатор “параллельных обществ” и “несостоявшегося мультикультурализма”». Дискур-

[1] См.: Maier S. Honor killings and the cultural defense in Germany // Multicultural jurisprudence: Comparative perspectives on the cultural defense / Ed. by M.-C. Foblets, A.D. Renteln. – Portland (OR): Hart, 2009. – P. 233.

сивная связь между «убийством чести» и «провалом мультикультурализма», как указывает автор статьи, поддерживалась ведущими СМИ и политиками, в частности членами ХДС и ХСС. «Убийство чести» определялось ими как культурная и / или религиозная практика меньшинств, которые живут в своих городских анклавах и не имеют контактов с немцами [с. 666]. Такая позиция была нацелена на поляризацию ценностей и четкое разделение «мы – они». Женщины были представлены в качестве угнетенных жертв, которые из-за незнания немецкого языка не могли получить информацию о своих правах в либерально-демократическом обществе. В качестве решения проблемы предлагалось еще активнее интегрировать мигрантов, которые как социальные аутсайдеры должны принять ценности и практики местного большинства.

Фрейм «“Убийство чести” как индикатор гендерного неравенства в культурах меньшинств». В рамках данного фрейма, который использовался и консервативными, и либеральными политическим силами, «убийство чести» репрезентировалось как показатель гендерного неравенства в традиционных культурах. Хотя этот фрейм пересекается по смыслу с первым, он отличается формулировкой предлагаемого решения проблемы: успех интеграции иммигрантов в принимающее общество связывается с их движением в сторону гендерного равенства, а не адаптацией к немецким ценностям [с. 668]. Таким образом, в рамках этого фрейма гендерное равенство определяется как один из основополагающих принципов функционирования немецкого социума. Тем не менее, указывает автор статьи, политики говорили о гендерном неравенстве только применительно к обществам традиционным, обходя существование аналогичных проблем в самой Германии. Иными словами, снова подчеркивалось различие между «своими» и «чужими» ценностями.

Контрфрейм «“Убийство чести” как насилие в отношении женщин». Этот контрфрейм был выделен в рамках анализа заявлений и высказываний членов Зеленой и Левой партий, которые обращали внимание на то, что «убийство чести» не связано напрямую с определенными культурами, а скорее является гендерно обусловленным насилием в отношении женщин. Решение проблемы в рамках этого контрфрейма предполагало установление сотрудничества с иммигрантскими сообществами в вопросе соблюдения гражданских прав. В одном из парламентских предложений «зеленых», в

частности, говорилось, что стигматизация меньшинств ведет лишь к их дальнейшей эксклюзии [с. 669]. Схожую позицию заняли представители некоторых иммигрантских организаций. Тем не менее этот фрейм как альтернативная точка зрения остался на периферии обсуждений, поскольку в тот период он не выполнял главную политическую функцию – дискредитацию мультикультурализма.

Причинами доминирования фреймов, основанных на отличии культур, С. Эркан называет отсутствие взаимодействия между гражданским обществом и циклами принятия решений, существование в немецком социуме предубеждений и фактор так называемых «достоверных информаторов».

Отсутствие диалога между обществом и властью проявилось в том, что акторы, выступающие за рассмотрение гендерных аспектов проблемы, не были допущены к принятию решений, а главные политические партии Германии придерживались строго определенной позиции и игнорировали альтернативные мнения.

По поводу существовавших в немецком обществе предубеждений С. Эркан отмечает, что, когда определенные фреймы уже связаны с волнующими людей проблемами, они получают преимущество в конкурентной борьбе за доминирование в информационном пространстве. Как уже было показано, в Германии несколько лет формировалась глубокая озабоченность вопросами культурного и религиозного разнообразия, неудачной интеграции и толерантности, поэтому первые два фрейма оказались более востребованными в публичном дискурсе.

Что касается «достоверных информаторов», то здесь заметную роль сыграло мнение женщин, воспитанных в мусульманских семьях. С. Эркан отмечает, что в Германии после описанных событий рядовые граждане, СМИ и политические элиты стали с б*о*льшим вниманием прислушиваться к общественным активистам, в особенности обладающим двойственной идентичностью, таким, например, как известная берлинская адвокат турецкого происхождения Сейран Атеш или немецко-турецкий социолог Неджлы Келек. Их выступления и публикации с историями из жизни, освещающие проблему репрессивных тенденций в традиционных турецких семьях, были широко растиражированы и стали восприниматься как более значимые и достоверные источники информа-

ции, нежели эмпирические исследования с их взвешенным взглядом на феномен насилия в отношении женщин.

Немаловажным обстоятельством победы культурно обусловленных трактовок «убийств чести» также стала поддержка этой версии со стороны феминистских групп Германии. Большинство из них объединились с консервативными партиями и значительно способствовали укреплению преобладающих объяснений насилия [с. 672–673].

В заключение автор статьи отмечает, что, хотя гендерные фреймы присутствовали в рамках обсуждения «убийств чести», они имели ограниченные возможности влиять на ход дебатов. Положительным результатом возникновения всеобщего интереса к «убийствам чести» стало то, что в обществе начались дискуссии о способах предотвращения этих преступлений. Что касается проблемы «несостоявшегося мультикультурализма», то при ее решении, полагает С. Эркан, необходимо переключить внимание с неудавшейся интеграции мигрантов на наличие институциональных и дискурсивных возможностей, с помощью которых альтернативные требования этнических меньшинств могут быть услышаны [с. 674]. Применительно к «убийствам чести» это означает, что при объяснении этого явления необходимо учитывать не только культурную специфику, но и гендерные аспекты, поскольку одномерная трактовка сопряжена с опасностью изображать культурные отличия глубже, чем они есть на самом деле.

А.Ю. Долгов

2017.03.006. ИНГ Э., БЛЭМРААД И. SWOT-АНАЛИЗ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В КАНАДЕ, ЕВРОПЕ, РЕСПУБЛИКЕ МАВРИКИЙ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ.
NG E., BLOEMRAAD I. A SWOT analysis of multiculturalism in Canada, Europe, Mauritius, and South Korea // American behavioral scientist. – Beverly Hills (CA), 2015. – Vol. 59, N 6. – P. 619–636.

Ключевые слова: мультикультурализм; иммигранты; этническое меньшинство; ассимиляция; SWOT-анализ; Канада; Европа; Маврикий; Южная Корея.

Обобщив данные шести исследований, раскрывающих особенности реализации мультикультурной политики в Канаде, Евро-

пе, Республике Маврикий и Южной Корее, Эдди Инг (Университет Далхаузи, г. Галифакс, Канада) и Ирэн Блэмраад (Калифорнийский университет в Беркли, США) применили для рассмотрения полученного массива информации классический метод стратегического менеджмента – SWOT-анализ, с тем чтобы выявить сильные (strengths) и слабые (weaknesses) стороны современного мультикультурализма, соответствующие угрозы (threats) и возможности (opportunities) их устранения [с. 619–622].

В определении теоретической рамки собственного исследования авторы отталкиваются от коллективной работы Дж. Берри, Р. Калина, Д. Тейлора и Л. Ламарша «Мультикультурализм и этнические установки в Канаде»[1], описывающей три измерения концепта «мультикультурализм». Соответственно, данный термин может использоваться: 1) с целью фиксации этнокультурной гетерогенности государства; 2) для обозначения политической философии, направленной на признание и принятие различий, обусловленных этнокультурной неоднородностью; 3) в качестве определения общественно-политического инструмента, призванного содействовать воплощению вышеописанной философии в жизнь [с. 620]. К указанным трем измерениям Э. Инг и И. Блэмраад добавляют четвертое, выделенное И. Блэмраад совместно с М. Райтом, – публичный дискурс[2]. Формы последнего варьируются в широком диапазоне от политических деклараций, подобных историческому заявлению немецкого канцлера А. Меркель о «полном провале» попыток выстроить мультикультурное общество в Германии, до установок государственной политики, таких, например, как курс «одна нация, два языка, много народов и культур», официально принятый канадским правительством в 1971 г. Преисполненные разочарования в отношении возможности обеспечения «равенства различий» в условиях этнокультурной гетерогенности заявления А. Меркель, бывшего британского премьер-министра Д. Кэмерона, 23-го президента Французской Республики Н. Саркози могут служить примером создания политиками нарративов, помещающих

[1] Multiculturalism and ethnic attitudes in Canada / Berry J.W., Kalin R., Taylor D.M., Lamarche L. – Ottawa: Minister of supply and services, 1977.

[2] Bloemraad I., Wright M. «Utter failure» or unity out of diversity? Debating and evaluating policies of multiculturalism // International migration rev. – Hoboken (NJ), 2014. – Vol. 48, N 1. – P. 292–334.

обычных, не располагающих всей полнотой информации граждан в пространство отвержения мультикультурной модели [с. 621–622].

Следуя логике SWOT-анализа, авторы начинают с описания элементов внутренней среды: сильных и слабых сторон мультикультурализма, иллюстрируя каждый представленный тезис конкретными примерами.

К сильным проявлениями мультикультурализма они относят «укрепление национальной идентичности» [с. 623]; «стимулирование толерантности и модернизации» [с. 623]; «интеграцию этнокультурных меньшинств» [с. 624].

В 1971 г. канадское правительство в продолжение политики обеспечения лояльности квебекских франкоканадцев путем наделения их сообщества рядом дополнительных прав приняло «Официальный акт о мультикультурализме». Немногим ранее произошел отказ от концепции «Канада только для белых»: страна стремительно перешла от бикультурализма к поликультурности. Стратегия превращения мультикультурализма в важную составляющую национальной идентичности увенчалась успехом. Согласно опросам общественного мнения начала 2000-х годов, около 84% канадцев оценили эту политику положительно[1], и большинство респондентов поставили ее на второе место после «свободы и демократии» в списке того, чем страна может гордиться[2]. Аналогичный канадскому путь консолидации нации избрали власти Маврикия: однако здесь мультикультурализм позволил снизить аутгрупповую дискриминацию в *изначально* полиэтничном обществе. Таким образом, несмотря на то что демографические факторы, определившие мультикультурный выбор Канады и Маврикия, не совпадали, в обоих случаях переход от установки социального взаимодействия «они так отличаются от нас» к концепции «мы все так отличаемся друг от друга» способствовал возрастанию общественной сплоченности [с. 623].

[1] Soroka S., Roberton S. A literature review of Public opinion research on Canadian attitudes towards multiculturalism and immigration, 2006–2009. – Ottawa: Citizenship and immigration Canada, 2010. – http://www.cic.gc.ca/english/pdf/research-stats/2012-por-multi-imm-eng.pdf [Accessed 06.06.2017.]

[2] Adams M. Unlikely utopia: The surprising triumph of Canadian pluralism. – Toronto: Viking press, 2007.

В свою очередь, в отличие от Канады и Маврикия, Республика Корея (РК) не может похвастаться длительной историей сосуществования различных этнокультурных групп. Однако в последние годы с целью компенсировать низкую рождаемость РК изменила приоритеты миграционной политики, сконцентрировавшись на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа и поощрении брачной иммиграции женщин. В 2005 г. правительство признало мультикультурализм новой демографической реальностью страны, но предлагаемый политической элитой нарратив пока еще не вполне интегрирован этноцентричным по сути корейским обществом, придающим большую важность «чистоте крови». Однако в то время как государства Европы (Нидерланды, Дания, Италия) демонстрируют определенную «усталость» от мультикультурализма, власти РК, напротив, рассматривают эту политику как часть западного проекта модернизации, куда страна с необходимостью должна вписаться, если, конечно, рассчитывает на попадание в узкий круг держав «первого эшелона развития». Транслируемый политическим лидерами РК мультикультурный дискурс имеет двунаправленный характер, будучи ориентирован как на зарубежную, так и на внутреннюю аудиторию [с. 623].

Мультикультурализм изначально рассматривался в качестве механизма интеграции в этнически гетерогенное общество-государство представителей самых разнообразных культур; он был призван способствовать преодолению тенденций исключения и стигматизации. Сдвиг в сторону постмультикультурализма и интеркультурализма, наблюдаемый сегодня в европейских странах, во многом обусловлен обеспокоенностью местного населения уровнем включенности «старых» и «новых» мигрантов, в особенности тех, которые исповедуют ислам [с. 624].

К слабым сторонам мультикультурализма Э. Инг и И. Блэмраад относят «создание линий разрыва» [с. 625]; «образование параллельных сообществ» [с. 625–626]; «отступление от принципа равенства в либеральных обществах» [с. 626].

Заимствуя терминологию Д. Лау и Дж.К. Мернигана, авторы указывают, что мультикультурализм может способствовать формированию «разрывов» (faultlines) – «гипотетических разделительных линий, способных расщепить группу на подгруппы на основе одно-

го или более демографических признаков»[1]. Разрывы углубляются в условиях взаимоналожения стигматизирующих характеристик. Группа, включающая в себя двух белых мужчин с высоким уровнем дохода и двух черных женщин с низким уровнем дохода в большей степени подвержена риску оказаться расколотой изнутри, чем коллектив с аналогичным расовым и гендерным «профилем», но с одинаковым имущественным положением его членов. Так, в частности, мультикультурализм «по-маврикийски», наилучшим образом описывающийся метафорой «миски салата» в противопоставлении образу «плавильного котла», предполагает *минимальное* смешение различных этнических групп. Соответственно, сильная групповая идентификация, основанная на чувствах этнической и религиозной принадлежности, вкупе с дефицитом межгруппового взаимодействия (в частности, межрасовых браков) приводят к углублению потенциальных линий разрыва [с. 625].

Один из основных аргументов критиков мультикультурализма как идеологии заключается в том, что последняя способствует появлению параллельных сообществ – замкнутых этнокультурных анклавов, не следующих нормам и традициям государствообразующей нации. С разной степенью выраженности этот процесс мы можем наблюдать сегодня в европейских странах. Э. Инг и И. Блэмраад поясняют, что характер социокультурной адаптации иммигрантов – представителей этнических меньшинств будет во многом определяться их отношением к собственной культуре и ценностям группы контакта, а также политикой принимающей стороны. В связи с этим они вспоминают предложенную Дж. Берри и соавторами типологию адаптационных стратегий, основанную на фиксации двух параметров – «поддержание культуры» в среде этнических меньшинств и «культурное принятие» этнических меньшинств доминирующей группой. В странах иммиграции с низким уровнем принятия норм поведения, отличных от предписанных доминирующей культурой (таких, например, как Дания, Германия и Нидерланды), этнические меньшинства с ярко выраженной тенденцией к «поддержанию культуры» – что чаще всего наблюдается при наличии значительной культурной дистанции – прибегают к

[1] Lau D.C., Murnighan J.K. Demographic diversity and faultlines: The compositional dynamics of organizational groups // Academy of management rev. – N.Y., 1998. – Vol. 23, N 2. – P. 325–340.

сепарации (дистанцируясь от большинства) или же оказываются объектом маргинализации (когда большинство дистанцируется от них). Напротив, в случае, когда культурная дистанция незначительна, а иммигранты не склонны к «поддержанию культуры», они довольно легко ассимилируются в принимающем обществе, как например, белые выходцы из Южной Африки в Канаде. Наконец, если в основе сложившейся в обществе модели социального взаимодействия лежит «культурное принятие», то даже настроенные на «поддержание культуры» приезжие выбирают для себя бесконфликтную стратегию интеграции[1] [с. 625]. Продолжая перечислять «слабости» мультикультурализма, авторы указывают на опасность поддержания нездоровых связей иммигрантов со странами исхода, когда конфликты «старого» мира привносятся в мир «новый». Как правило, в алармистском контексте обсуждаются темы денежных переводов приезжих, а также проблема участия выходцев из иммигрантских семей в электоральных процессах или гражданских войнах на их исторической родине [с. 626].

Фактически, отмечают Э. Инг и И. Блэмраад, за мультикультурализмом стоит отрицание единого общества – вместо него утверждается конгломерат общин с единым гражданством. Доступ к социальным благам достигается через участие в этноконфессиональных группах – и оно становится привлекательным, если не необходимым. Так, идея равноправия большинства и меньшинств на практике оборачивается приоритетностью последних, что способствует их обособлению, ущемлению большинства и в конечном итоге препятствует установлению того равенства, к которому столь яростно призывают сторонники мультикультурализма [с. 626].

Продолжая следовать схеме SWOT-анализа, авторы переходят к описанию элементов внешней среды: возможностей и угроз.

В списке возможностей они перечисляют «привлечение талантов» [с. 626]; «обеспечение национального превосходства в конкуренции на международном рынке» [с. 627], «достижение политических выгод» [с. 627–628].

Э. Инг и И. Блэмраад обращают внимание на то, что отсутствие требования полной ассимиляции снижает уровень психологи-

[1] Multiculturalism and ethnic attitudes in Canada / Berry J.W., Kalin R., Taylor D.M., Lamarche L. – Ottawa: Minister of supply and services, 1977.

ческого и социального давления, оказываемого на иммигрантов. Страны, обладающие высоким индексом мультикультурализма (Multiculturalism policy index), имеют больше шансов привлечь инвесторов из-за рубежа и высококвалифицированных иностранных рабочих. В данном контексте представляется уместным использовать предложенный Э. Чуа[1] термин «стратегическая толерантность», обозначающий готовность отказаться от фиксации на групповых различиях, с тем чтобы применить на общее благо интеллектуальный, экономический, символический и прочие виды капитала, накопленного представителями меньшинств.

Допускаемое политикой мультикультурализма сохранение связей иммигрантов с их исторической родиной может иметь благоприятные последствия в плане образования транснациональных сетей, способных облегчить торгово-экономическое взаимодействие между принимающим государством и страной исхода [с. 627].

Обращение к проблеме мультикультурализма в политической риторике неизменно находит отклик у простых избирателей. Но если европейские политики для расширения числа своих сторонников мультикультурализм преимущественно осуждают, то в Канаде увеличение электората обеспечивается прямо противоположными средствами. Так, в начале 2000-х годов правительство консерваторов официально извинилось перед канадцами китайского происхождения за принятые в прошлом антииммигрантские законы, в частности за так называемый «китайский подушный налог»[2]. С точки зрения авторов, одной из причин, по которой правящая Квебекская партия лишилась поддержки избирателей на выборах 2014 г., стал предложенный ею законопроект о недопущении «явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытого ношения религиозных знаков и символов» в публичных местах [с. 627].

«Канадский кейс» заставляет предположить, что в среднесрочной перспективе европейские политики крайне правого толка сдвинутся на центристские позиции в обсуждении вопросов куль-

[1] Chua A. Day of empire: How hyperpowers rise to global dominance – and why they fall. – N.Y.: Random house, 2009.

[2] Winter E. Us, them and others: Reflections on Canadian multiculturalism and national identity at the turn of the twenty-first century // Canadian rev. of sociology. – Malden (MA), 2014. – Vol. 51, N 2. – P. 128–151.

турного плюрализма, поскольку граждане иммигрантского происхождения становятся значимой частью электората, в особенности в больших городах. Не случайно вопросы миграции в третьем правительстве А. Меркель курирует турчанка по происхождению Айдан Озогуз, ставшая первой мусульманкой, вошедшей в состав федерального правительства Германии. В этом отношении авторы находят весьма ценным заключение исследования М. Хуге и Т. Де Врума[1], обнаруживших, что сохранение или принятие специфической политики признания меньшинств вовсе не обязательно вызовет ответную негативную реакцию остального общества: такого рода действия могут даже позитивно оцениваться большей частью образованного населения [с. 627–628].

Подрыву мультикультурализма, по мнению Э. Инга и И. Блэмраад, могут способствовать такие угрозы, как «несовместимость с западными либеральными ценностями» [с. 628–629]; «избыточная нагрузка на государственную систему социального обеспечения» [с. 628]; «размывание национальной идентичности» [с. 629].

Стремление иммигрантов к сохранению своей культуры многими рассматривается как отвержение ценностей принимающей стороны и резко осуждается. Будирование темы демографической экспансии мусульман в Европе подпитывает присущий «коренным жителям» страх перед исламской радикализацией и «доморощенным» исламистским терроризмом [с. 628–629].

С учетом многообразия факторов, определяющих степень интегрированности иммигрантов в национальную экономику, выявить содержание связи между мультикультурализмом и возрастанием нагрузки на систему социального обеспечения крайне сложно. Авторы отмечают, что «образцово мультикультурные» страны (Австралия и Канада) могут позволить себе более высокие требования к уровню профессиональной квалификации иммигрантов. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2005–2006 гг., около 47% канадцев иностранного происхождения имели высшее образование (в Австралии этот показатель составил 34%) в сравнении с всего лишь 28 – в Дании и 16% – в Германии [с. 629].

[1] Hooghe M., de Vroome T. How does the majority public react to multiculturalist policies? A comparative analysis of European countries // American behavioral scientist. – Beverly Hills (CA), 2015. – Vol. 59, N 6. – P. 747–768.

В рамках «европейского мультикультурализма» односторонняя толерантность принимающего сообщества превратилась в заботу об идентичности иммигранта при недостатке интереса к идентичности принимающей страны. Если же обратится к опыту Канады, то мы увидим, что франкофоны Квебека пытаются дистанцироваться от «общеканадского» мультикультурализма, ориентированного на многообразие, но в рамках англофонного сообщества, и предлагают альтернативную – интеркультурную – модель [с. 629].

Подводя итог, авторы обобщают полученные выводы в рамках следующей таблицы [с. 630].

Таблица

Мультикультурализм в мировой практике: SWOT-анализ

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Прошлое / Настоящее	сильные стороны	слабые стороны
	Укрепление национальной идентичности	Создание линий разрыва
	Стимулирование толерантности и модернизации	Образование параллельных сообществ
	Интеграция этнокультурных меньшинств	Отступление от принципа равенства в либеральных обществах
Будущее	Возможности	Угрозы
	Привлечение талантов	Несовместимость с западными либеральными ценностями
	Обеспечение национального превосходства в конкуренции на международном рынке	Избыточная нагрузка на государственную систему социального обеспечения
	Достижение политических выгод (репрезентативная бюрократия)	Размывание национальной идентичности

В заключение Э. Инг и И. Блэмрааd намечают несколько перспективных направлений дальнейшего исследования роли мультикультурализма. Они полагают целесообразным провести аналогичный анализ преимуществ и издержек мультикультурной политики, но уже не в страновом или региональном, а в глобальном контексте. Также отмечается необходимость уделить большее внимание сопряжению мультикультурных практик с различными типами об-

разовательных систем и систем социального обеспечения [с. 631–632].

А.М. Понамарева

2017.03.007. МИНЧЕВ Н., МУР Г.Л. СВЕРХРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО.
MINTCHEV N., MOOR H.L. Super-diversity and the prosperous society // European j. of social theory. – L., 2016. – Nov. 17. – P. 1–18.

Ключевые слова: социальная сплоченность; мультикультурализм; этнокультурная диверсификация; Великобритания; сверхразнообразие.

В статье директора Института глобального процветания (Лондонский университетский колледж, Великобритания) Генриетты Мур и ее коллеги Николая Минчева обсуждается феномен этнического разнообразия в качестве возможной предпосылки социального сплочения и снижения уровня социальной напряженности в современных западных обществах, отмеченных печатью мультикультурализма и неравенства. Вразрез с общепринятой точкой зрения (тиражируемой СМИ и научно-популярными изданиями), согласно которой несовпадение этнокультурных традиций провоцирует межгрупповые конфликты и взаимное неприятие, авторы настоящей статьи утверждают, что определенный тип этнической диверсификации в мультикультурных пространствах современности способствует сближению групп и сообществ и в перспективе создает условия для общественного процветания. Учитывая оживленные дискуссии о политических аспектах мультикультурализма в Европе, Мур и Минчев считают своевременным анализ новых подходов к этой теме в социологии, что позволит оставить в прошлом тривиальные представления о ксенофобии и расизме. Обзор теоретических моделей этнокультурного разнообразия подкреплен этнографическими свидетельствами, которые должны послужить аргументом в защиту авторской гипотезы о позитивных составляющих этнокультурной диверсификации в XXI столетии.

Проблема состоит в том, поясняют Мур и Минчев, смогут ли мультикультурные сообщества наших дней сделать шаг навстречу «межкультурному гражданству» как воплощению способности и готовности социальных групп жить и работать вместе с этнически-

ми и культурными «другими»[1]. В условиях мегаполиса, каковым сегодня является Лондон с его богатой историей иммигрантских поселений и этнокультурных общин, прежние формы категоризации связей между социальной диверсификацией, эксклюзией и инклюзией не могут считаться удовлетворительными. И культурные нарративы, и правовые практики нового тысячелетия коренным образом меняют способы разделения на «своих» и «чужих»; здесь возникают новые «иерархии принадлежности», в рамках которых этнические либо расовые индикаторы сами по себе не определяют доступности гражданских и правовых статусов и социальных ресурсов[2]. Поэтому сегодня требуется иное, целостное понимание того, как формируются социальные барьеры и границы между сообществами и входящими в них индивидами. Необходимо сосредоточить внимание на взаимодействии факторов расы и этничности, с одной стороны, и совокупности таких параметров, как экономический, социальный, культурный и символический капиталы, – с другой. С этих позиций перспективной представляется модель этнокультурного сверхразнообразия (super-diversity), предложенная известным социальным антропологом С. Вертовеком[3]. Здесь имеется в виду такой вариант социальной диверсификации, когда групповые различия этнокультурного типа «насыщаются» или опосредуются социально значимыми несовпадениями политического, статусного и ресурсного характера. В этом случае этнические межгрупповые характеристики теряют свою доминирующую роль на фоне сближающих / разобщающих индикаторов общественного ранжирования. Примером подобного сверхразнообразия могут служить «старые» и «новые» иммигранты в Восточном Лондоне, этнокультурная дифференциация которых вытесняется или поглощается более важными ситуативными показателями очевидного социального неравенства. Таким образом, можно предположить, что общества, которые движутся в направлении парадигмы сверх-

[1] Van Leeuwen B. Urban civility or urban community? A false opposition in Richard Sennett's conception of public ethos // European j. of social theory. – L., 2014. – Vol. 17, N 1. – P. 3–23.

[2] Back L., Sinha S., Bryan C. New hierarchies of belonging // European j. of cultural studies. – L., 2012. – Vol. 15, N 2. – P. 139–154.

[3] Vertovec S. Super-diversity and its implications // Ethnic a. racial studies. – L., 2007. – Vol. 30, N 6. – P. 1024–1054.

разнообразия, стоят на пороге изменения самих традиционных траекторий групповой диверсификации. Более того, «в этом случае сверхразнообразие редуцирует этническую напряженность и делает более выпуклой роль социального неравенства во всех его проявлениях применительно к целям сплочения и общественного процветания» [с. 2].

Сегодня представление о процветающем государстве не ограничивается перечнем чисто экономических параметров национального благополучия; оно с необходимостью включает новые «метрики социального прогресса», продолжают Мур и Минчев. Так, в 2015 г. индекс процветания Института *Legatum* (Legatum prosperity index) определялся путем вычисления средневзвешенного значения *восьми* индикаторов, призванных отразить различные аспекты социальной жизни и параметры общественного благосостояния. В их число вошли: экономика, предпринимательство и возможности, управление, образование, здравоохранение, безопасность и гарантии, личная свобода, социальный капитал (общественная сплоченность, участие и связи)[1]. Сходный список параметров описания индивидуального благополучия можно обнаружить в знаменитой книге Р. Лэйярда, где собственно экономические показатели счастья соседствуют с понятием личных ценностей и требованием качественных социальных отношений[2]. К сожалению, эти и подобные им исследования не принимают в расчет иммиграцию и специфику культурных традиций, замечают Мур и Минчев. Между тем, конструируя образ процветающего общества, необходимо делать поправку на локальные (этнокультурные) представления о благополучии и счастье. С методологической точки зрения априорные дефиниции и абстрактные рецепты общественного процветания выглядят наивными. Разумеется, стабильность, экономическая жизнеспособность и сплоченность необходимы и даже обязательны для социального процветания, однако смысловая наполненность этих требований и пути их реализации имеют локальный характер и свои этнокультурные особенности [с. 3].

[1] The 2015 Legatum prosperity index: The report of Legatum Institute. – Mode of access: http://www.li.com/activities/publications/2015-legatum-prosperity-index [Accessed 28.03.2017.]

[2] Layard R. Happiness: Lessons from a new science. – L.: Penguin, 2011.

Если анализ социального процветания обычно обходит стороной реалии этнокультурной диверсификации, то работы, посвященные социальному доверию (как условию сплоченного процветающего общества), напротив, уделяют этому вопросу самое пристальное внимание. При этом и социологи, и политологи единодушны в том, что этнокультурное разнообразие препятствует социальному доверию, уменьшая вероятность общественного единения. Наиболее авторитетным защитником данной позиции выступает Р. Патнэм[1]. Патнэм анализирует связи между размером групп, относящихся к этнокультурным меньшинствам, и уровнем социального доверия в обществе в целом (на примере нескольких больших и малых городов США). Его интересует корреляции доверия и разнообразия как в пределах этнокультурных сообществ, так и между ними. В итоге Патнэм приходит к категорическому заключению о негативном воздействии этнокультурной диверсификации на готовность и способность людей доверять друг другу. Поскольку присутствие этнических меньшинств неизбежно приводит к конкуренции в сферах культурной гегемонии и социальных ресурсов, эти группы и сам факт этнокультурной диверсификации представляют угрозу идентичности и социальному статусу большинства. Этнокультурное разнообразие подрывает основы социальной сплоченности, а потому миграционная политика западных стран нуждается в корректировке, резюмирует свои идеи Р. Патнэм. Хотя некоторые исследователи настаивают на исторических, культурных и локальных поправках к выводам Патнэма, мнение о том, что этническая неоднородность вредит благополучию общества, попрежнему доминирует в социальных науках и обыденном сознании, констатируют Мур и Минчев.

Авторы не считают это мнение неверным в принципе, поскольку существует достаточно эмпирических свидетельств того, что этничность служит центральным организационным принципом социальных конфликтов [с. 4]. Тем не менее они убеждены, что социологическая модель сверхразнообразия предлагает совершенно иной угол зрения на проблему, новое понимание паттернов социальной диверсификации и альтернативное толкование корреля-

[1] Putnam R. E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century: The 2006 Johan Skytte prize lecture // Scandinavian political studies. – Oxford, 2007. – Vol. 30, N 2. – P. 137–174.

ций между этнокультурным многообразием и общественным процветанием. Примечательной в этом отношении является коллективная работа П. Стёрджиса, И. Брантона-Смита, Й. Кьюха и Дж. Джексона, где показаны позитивные аспекты этнокультурной диверсификации на примере Лондона[1]. В этом исследовании проводится сравнение возрастных когорт разной этнокультурной принадлежности («коренные» лондонцы – белое большинство, «новые» и «старые» иммигранты из разных регионов мира), результаты которого показывают, что неприятие культурных других характерно прежде всего для старших возрастных групп (причем преимущественно для белых). Молодое поколение (и лондонцы, и мигранты), имеющее хотя бы минимальный опыт поликультурной социализации в мегаполисе, скорее демонстрирует межкультурную лояльность и готовность к диалогу, чем откровенное неприятие иного. В свою очередь, Мур и Минчев ставят во главу угла анализ «меняющейся природы самого этнокультурного разнообразия» и, как следствие, изменение характера корреляций мультикультурной диверсификации и перспектив социального процветания. Сверхразнообразие как новый тренд общественного развития, который, по свидетельству демографов и антропологов, набирает силу в традиционных местах обитания мигрантов в районах Восточного Лондона, по всей вероятности, означает грядущий позитивный сдвиг в содержании и восприятии опыта совместного проживания с культурными другими [с. 4].

В качестве демографического паттерна сверхразнообразие имеет две ключевые характеристики: а) рост числа иммигрантских сообществ разных стран происхождения, расширение «географии миграций» (в Великобритании за последние годы ряды выходцев из Южной Азии, Африки и стран Карибского бассейна пополнились переселенцами из Восточной и Западной Европы, Турции и Восточной Азии); б) внутренняя фрагментация иммигрантских сообществ в новой среде обитания, возникновение «различий в рамках разнообразия» (С. Вертовек) за счет наслоения на этнические параметры прочих социальных переменных, которые становятся доминантой дифференциации в обществе. Так формируется ста-

[1] Ethnic diversity, segregation and the social cohesion of neighbourhoods in London / Sturgis P., Brunton-Smith I., Kuha J., Jackson J. // Ethnic a. racial studies. – L., 2014. – Vol. 37, N 8. – P. 1286–1309.

тусное разделение внутри сообществ и групп общей этничности или страны происхождения, которое регулирует доступ составляющих эти сообщества людей к социальным ресурсам материальной и символической природы (гражданские и правовые возможности, положение на рынке труда и уровень дохода, социальные гарантии, здравоохранение, образование, безопасность).

Этот комплекс переменных, в свою очередь, переплетается с классическими основаниями социальной категоризации (гендер, возрастная когорта, класс). Авторы подробно останавливаются на специфике взаимного влияния этнокультурных и классовых параметров социальной диверсификации в Великобритании, связывая эти процессы с политикой М. Тэтчер и нового лейбористского правительства. Мур и Минчев используют тезис П. Бурдье о двух уровнях социального оперирования феномена «класс» – в качестве объективной данности первого порядка (следствие того или иного распределения материальных ресурсов и собственности) и как объективной же реальности второго порядка, которую продуцируют социальные агенты, руководствуясь практическими знаниями о распределении первого порядка (например, стиль и образ жизни). Следовательно, замечают Мур и Минчев, в зависимости от социальных обстоятельств класс как социальный индикатор может иметь большее или меньшее значение по сравнению с иными формами идентичности, в том числе идентичности этнической. Эпоха тэтчеризма имела своим результатом катастрофический рост экономического неравенства и социальной поляризации в стране. Эти процессы по времени совпали с притоком в столицу Британии новых иммигрантов и с масштабной «диверсификацией разнообразия». В конечном счете в положении изгоев оказались не только «коренные» лондонцы, в первую очередь представители рабочего класса, но и вновь прибывшие переселенцы и беженцы из разных стран мира. Таким образом, экономическая депривация и классовая дифференциация стали факторами символического сближения людей разной этнокультурной принадлежности [с. 7]. Более того, по наблюдениям исследователей, ситуация, сложившаяся в Восточном Лондоне, может служить иллюстрацией того, как сверхразнообразие снижает остроту расовых и этнокультурных предрассудков и способствует взаимной терпимости, прокладывая дорогу новой

гражданственности[1]. В сообществе, где сосуществуют две-три хорошо консолидированные группы, несовпадение культурных традиций и образа жизни вызывает напряженность и конфликт; в условиях сверхразнообразия культурными другими оказывается каждый, и нет ни одной группы, достаточно сплоченной для того, чтобы стать угрозой идентичности всех остальных. В этих социальных обстоятельствах толерантность служит предпосылкой выживания, обиходной необходимостью и потому «жить с различиями оказывается просто» [с. 8].

Как показала работа Д. Рей и коллег, в Великобритании растет число людей, озабоченных мультикультурной социализацией своих детей[2]. Как правило, это «коренные» британцы, представители среднего класса, убежденные в том, что в современном глобальном мире знание иных культур и навыки межэтнической коммуникации предопределяют карьерный и жизненный успех подрастающего поколения. Они расценивают этнокультурное разнообразие как важный ресурс символического капитала. По мнению авторов настоящей статьи, эта тенденция, именуемая ими культурной всеядностью, или «конденсатом мультикультурных социальных реалий», открывает новые перспективы для социального процветания и благополучия, важнейшим аспектом которых будет сосуществование с культурными другими [с. 9–10]. Если допустить, продолжают Мур и Минчев, что многообразие этничности и культуры не только не препятствует социальному сплочению, как настаивает Р. Патнэм, но, напротив, приближает эпоху социального благоденствия, то логичным будет и предположение об изменении удельного веса всех тех факторов, которые причастны к дестабилизации современного западного общества. Сверхразнообразие как формирующаяся этнокультурная реальность XXI столетия должно побудить политиков и общественных деятелей обратить особое внимание на такие реальные угрозы социальному единению, как неравенство, социальная и политическая стигматизация, безрабо-

[1] Wessendorf S. Commonplace diversity: Social relations in a super-diversity context. – Basingstone: Palgrave, 2014; Butler T., Hamnett C. Ethnicity, class and aspiration: Understanding London's East End. – Portland (OR): Policy press, 2011.

[2] A darker shade of pale? Whiteness, the middle classes and multi-ethnic inner city schooling / Reay D., Hollingworth S., Williams K., Croizer J., Jamieson F., David J., Beedell P. // Sociology. – L., 2007. – Vol. 41, N 6. – P. 1041–1060.

тица, которые должны рассматриваться вне их сцепления с проблемами мультиэтничности.

В заключение Мур и Минчев предлагают эмпирический очерк динамики классовых и этнических переменных в мультикультурных контекстах Восточного Лондона, что, по их мнению, подкрепляет изложенные выше гипотезы. Сопоставлению подлежат особенности социальных отношений в двух боро исторического Ист-Энда, которые считаются едва ли не самыми этнически насыщенными территориями в мире – Тауэр-Хамлетс и Хакни.

В Тауэр-Хамлетсе на протяжении полувека сосуществуют две доминантные группы – «коренное» население (белые британцы, представители рабочего класса) и иммигранты из Бангладеш, перебравшиеся в этот район Лондона в 1960–1980-х годах. По мере количественного роста иммигрантского сообщества росла и конкуренция на рынке труда и в социальной сфере (рабочие места, социальные пособия и льготы, образование, здравоохранение и т.п.). Исконные обитатели Тауэр-Хамлетса воспринимали иммигрантов как угрозу материальному благополучию и экономической стабильности. Кроме того, претензии приезжих на жилье и работу и даже сам факт их присутствия «на равных» в локальном сообществе задевали чувство национального достоинства старожилов. Пережив тяжелые годы войны и ужасы бомбежек, «коренные» обитатели Тауэр-Хамлетса рассматривали свое относительное благополучие и социальные гарантии как свидетельство общественного и государственного признания их заслуг перед родиной. Иммигранты, которые рассчитывали на те же жизненные блага, олицетворяли собой угрозу национальной идентичности старожилов. Ситуацию усугубило новое жилищное законодательство 1977 г., когда муниципальное жилье начали предоставлять в первую очередь тем, кто особо остро в нем нуждался, т.е. иммигрантам, оттеснившим, таким образом, «коренных» жителей. В итоге исконные обитатели Тауэр-Хамлетса потеряли не только экономические преимущества, но и былой ореол граждан, разделивших трудности со своей страной и признанных неотъемлемой частью нации[1]. В данном случае, замечают Мур и Минчев, переплетение классовых и экономиче-

[1] Dench G., Gavron K., Yong M. The new East End: Kinship, race and conflict. – L.: Profile press, 2006.

ских параметров депривации, с одной стороны, и угрозы культурной идентичности – с другой, привели к обострению межэтнической напряженности и многолетнему конфликту в локальном сообществе. Следовательно, в контексте социального соперничества двух достаточно консолидированных этнокультурных групп (классический вариант этнического разнообразия) нашел подтверждение сценарий Р. Патнэма: совокупность факторов социокультурной, классовой, экономической и символической диверсификации в Тауэр-Хамлетсе имела общий дестабилизирующий эффект [с. 11].

Принципиально иную динамику этнических и социально-классовых противоречий прослеживают в своем этнографическом очерке Т. Батлер и С. Хамнет, которые в 2011 г. провели серию опросов в Хакни[1]. Как ни парадоксально, в этом районе Восточного Лондона, где этническое разнообразие достигает предельной концентрации, как раз этнические и расовые отличия отступают на второй план, обнажая ключевую роль социального неравенства во всех его формах в эскалации социального напряжения. Здесь крайними точками оппозиции выступают законопослушные граждане, тяготеющие к жизненным ценностям среднего класса, и полукриминальные группировки социальных маргиналов. Последние, в свою очередь, отличаются крайне пестрым составом участников – «чавы», мародеры, несовершеннолетние матери без образования и профессии, иммигранты без вида на жительство, беженцы без документов, кочевые цыгане и неквалифицированные рабочие из Восточной Европы, исламские экстремисты, бездомные и т.п. В этом контексте сверхразнообразия главной детерминантой социальной диверсификации становится стигма деклассированности (отсутствие социальных притязаний, паразитический образ жизни, девиантное поведение, пренебрежение правилами общежития и морали). При этом этническая и классовая гетерогенность в равной мере присуща как законопослушному большинству, так и маргинальному меньшинству. Поэтому противодействие «коренных» жителей наплыву приезжих и иммигрантов продиктовано не абстрактными соображениями размывания идентичности, а вполне конкретными угрозами общественному спокойствию и благополу-

[1] Butler T., Hamnett C. Ethnicity, class and aspiration: Understanding London's East End. – Portland (OR): Policy press, 2011.

чию детей и близких. Таким образом, социальная напряженность в Хакни не поддается убедительному объяснению в терминах ксенофобии и расизма; нарратив социальной эксклюзии в данном случае включает как инсайдеров (деклассированные маргиналы), так и аутсайдеров (мигранты и беженцы), так что стабилизация общественной жизни в рамках локального сообщества не предполагает непременной культурно-этнической его гомогенности.

Этот опыт, резюмируют свои выводы Мур и Минчев, свидетельствует о том, что на повестке дня – новое понимание общественного процветания. Пафос этнокультурной толерантности, характерный для текущих дискуссий о мультикультурализме, должен уступить место идее равнодоступности социального капитала и практическим социальным программам, которые позволяют снизить уровень депривации, неравенства и девиантности в любой этнокультурной группе любого локального сообщества.

Е.В. Якимова

СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

2017.03.008. БЁРТОН-ЖАНГРО К., ЦИММЕРМАНН-СЛУЦКИС Д. ТРАЕКТОРИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЖЕНЩИН: АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗРАСТА, ПЕРИОДА И КОГОРТЫ.
BURTON-JEANGROS C., ZIMMERMANN-SLOUTSKIS D. Life satisfaction trajectories of elderly women living in Switzerland: An age–period–cohort analysis // Ageing a. society. – Cambridge, 2016. – Vol. 36, N 1. – P. 106–132.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью; пожилые женщины; лонгитюдные исследования; Швейцария.

Целью данного исследования, согласно его авторам, Клодин Бёртон-Жангро (Женевский университет, Швейцария) и Дорит Циммерманн-Слуцкис (Центр анализа данных и проектного менеджмента, Женева, Швейцария), было изучение распределения и траектории удовлетворенности жизнью (далее – УЖ) в качестве показателя качества жизни у пожилых швейцарских женщин. Оценивалось влияние ряда социальных детерминант на УЖ среди представительниц третьего и четвертого возраста в различных когортах. В основу были положены данные панельного исследования швейцарских домохозяйств[1]; анализ был проведен в отношении 1402 женщин в возрасте 65–84 лет. Как отмечают авторы, порядка половины пожилых швейцарских женщин удовлетворены жизнью. В младшей когорте средние показатели УЖ ниже; тем не менее их УЖ оставалась более стабильной в течение жизни. Факторами, положительно коррелирующими с УЖ, оказались: высшее образова-

[1] См.: Swiss household panel. – Mode of access: http://forscenter.ch/en/our-surveys/swiss-household-panel/ [Accessed 12.05.2017.]

ние, удовлетворительный доход, наличие социальной поддержки, проживание с партнером и хорошее субъективное здоровье.

Существующие исследования, согласно авторам, свидетельствуют об относительной стабильности качества жизни на протяжении старшего возраста[1]. Некоторые исследователи связывают этот факт с тем, что пожилые люди на каждом новом этапе адаптируются к постепенно ухудшающемуся здоровью; другие авторы подчеркивают значимость социальных связей в продолжение всего пожилого возраста. Также было продемонстрировано, что субъективное ощущение здоровья и качества жизни необязательно согласуется с некими объективными параметрами[2]. На данный момент указывает, в частности, то, что, хотя пожилые женщины находятся в существенно более невыгодном положении по сравнению с мужчинами (в связи с меньшими социально-экономическими ресурсами, более распространенным среди них вдовством и т.п.), их УЖ отличается от мужской незначительно[3]. Оттого многие ученые считают важным придерживаться гендерного подхода в подобных исследованиях. На женскую УЖ, например, больше, чем на мужскую, влияет наличие социальных связей[4]. Есть и индивидуальные стратегии поддержания высокого качества жизни.

Пожилой возраст, пишут Бёртон-Жангро и Циммерманн-Слуцкис, не оторван от других возрастов; достигая пожилого возраста, люди несут с собой опыт всей предыдущей жизни. Поэтому авторы статьи полагают необходимым ориентироваться на исследовательскую перспективу жизненного цикла. Соответственно, динамика качества жизни должна изучаться на двух уровнях – интрасубъективном (эволюция качества жизни индивида) и интерсубъективном (разница в качестве жизни различных социальных групп, а также

[1] См., например: Gwozdz W., Sousa-Poza A. Ageing, health and life satisfaction of the oldest old: An analysis for Germany. – Bonn: IZA, 2009.

[2] Allison P.J., Locker D., Feine J.S. Quality of life: A dynamic construct // Social science a. medicine. – Amsterdam, 1997. – Vol. 45, N 2. – P. 221–230.

[3] Gaymu J., Springer S. Living conditions and life satisfaction of older Europeans living alone: A gender and cross-country analysis // Ageing a. society. – Cambridge, 2010. – Vol. 30, N 7. – P. 1153–1175.

[4] Contextual effects on life satisfaction of older men and women / Bourque P., Pushkar D., Bonneville L., Béland F. // Canadian j. on aging. – Cambridge, 2005. – Vol. 24, N 1. – P. 31–44.

когорт). Так, в своем исследовании условий жизни нескольких последовательных когорт Л. Шовель показывает, как родившиеся после Второй мировой войны росли в более благоприятных условиях, чем те, чье детство пришлось на военное время[1]. Это, очевидно, повлияло на ожидания людей в отношении предстоящего пожилого возраста; ожидания родившихся раньше оказались ниже, а их УЖ, следовательно, – выше.

Характеризуя местный контекст, авторы сообщают, что в целом у швейцарского населения хорошие социальные условия и высокая продолжительность жизни. В 2013 г. Швейцария заняла первое место в составляемом Всемирным экономическим форумом рейтинге стран мира по уровню развития человеческого капитала, получив высокую оценку прежде всего по таким показателям, как здоровье, физическое и психологическое благополучие, а также трудоустройство и занятость. В соответствии с типологией моделей государства всеобщего благосостояния Й. Эспинга-Андерсена[2] швейцарская система, полагают авторы, может быть описана как сочетание консервативной модели (ориентированной на социальную защиту пожилых, безработных и людей с инвалидностью, подобно Германии и Франции) и либеральной модели (делающей ставку на частный сектор и поддерживающей наиболее обездоленных, как это имеет место в США и Великобритании). В общем и целом финансовую ситуацию пожилых людей можно оценить как благоприятную, хотя их доход в среднем ниже, чем у работающего населения. Однако есть и бедные пожилые, получающие только пенсию по возрасту (не трудовую).

Авторы решили не рассматривать отдельно мужчин и женщин, а сосредоточить внимание на женском населении. Они изучали две возрастные категории – «молодых пожилых» (65–74 года) и «старых пожилых» (75–84 года). Были сформулированы следующие гипотезы: 1) УЖ у женщин младшей когорты будет ниже остальных; 2) по мере ухудшения здоровья УЖ будет снижаться; 3) женщины из младшей когорты обладают б*о*льшими социальными ресурсами, а значит, их УЖ будет более стабильной.

---

[1] Chauvel L. Le destin des générations: Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle. – P.: PUF, 1998.

[2] Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1990.

Панельное исследование швейцарских домохозяйств началось в 1999 г. Каждый год отобранные на основе случайной выборки жители в возрасте 14 лет и старше интервьюируются по телефону с помощью компьютерной программы. С 1999 по 2010 г. было опрошено 15 507 человек. Исследуемых пожилых женщин авторы отнесли к трем когортам – старшей (1916–1925 г.р.), средней (1926–1935 г.р.) и младшей (1936–1945 г.р.). Год рождения и возраст определяют период. Отсутствие в выборке женщин старше 85 лет объясняется тем, что они недостаточно представлены в самом исследовании домохозяйств: люди старше 85 лет составляют 6,5% швейцарского населения, и порядка 28% из них проживают в домах для престарелых, а опрашивались только люди, проживающие в частных домах. УЖ оценивалась по 11-бальной шкале – от 0 («совсем не удовлетворена») до 10 («полностью удовлетворена»). Аналогичным образом исчислялась и удовлетворенность доходом; в отличие от цифры как такового дохода она включает в себя и имеющиеся накопления. Также по шкале от 0 до 10 вычисляли объем социальной поддержки, которая была подразделена на поддержку от партнера, от родственников, от соседей, от друзей и от коллег; уровень до 5,4 включительно был признан низким, от 5,5 – высоким. Субъективное здоровье оценивалось как отличное, хорошее, удовлетворительное, посредственное и плохое, соответственно.

Ниже авторы подробно описывают проведенный ими статистический анализ [с. 115–117]. Переходя к результатам исследования, Бёртон-Жангро и Циммерманн-Слуцкис сообщают, что среди «молодых пожилых» УЖ существенно не варьируется в зависимости от когорты. Среди «старых пожилых» представительницы старшей когорты несколько более удовлетворены жизнью, чем более молодые женщины, однако по мере старения старшие демонстрируют постепенное снижение УЖ. Согласно расчетам авторов, 57% УЖ сопряжено с социальными детерминантами. Уровень всех социальных факторов УЖ выше у младшей когорты: у них выше образование и доход, они чаще состоят в браке, они здоровее. В то же время и 2/3 старших женщин удовлетворены своим здоровьем. Хорошее образование, достаточная социальная поддержка, проживание с партнером и хорошее здоровье повышают УЖ на 50–100%, удовлетворенность доходом – на 300%. Далее авторы очерчивают траектории УЖ в зависимости от социальных факторов. Так, среди

женщин с ограниченными ресурсами траектории более разнообразны: у некоторых УЖ со временем несколько повышается, в особенности у тех, кто обладает низким образованием, в то время как у ряда одиноко проживающих и отличающихся плохим здоровьем УЖ значительно снижается. Наибольшая гетерогенность характерна для «старых пожилых»; на их УЖ наибольшее влияние оказывает наличие / отсутствие тех или иных социальных ресурсов. При этом современные «старые пожилые» в отличие от «старых пожилых» предыдущего исторического периода отмечают некоторое повышение УЖ с возрастом. В целом, как выяснили авторы, УЖ повышается с 65 до 70 лет, затем несколько снижается и стабилизируется в районе 75 лет. У женщин с наибольшим объемом разнообразных ресурсов УЖ падает после выхода на пенсию, но затем вновь растет и после 75 лет достигает более высоких показателей, чем у тех, кто находится в менее благополучном положении.

Подводя итог проведенному исследованию, Бёртон-Жангро и Циммерманн-Слуцкис отмечают, что, поскольку они прожили всю жизнь в лучших условиях, самые молодые из пожилых женщин предъявляют более высокие требования и к нынешнему периоду своей жизни и, соответственно, их УЖ ниже, чем у тех, кто старше. И хотя данный тренд, очевидно, указывает на возросшие потребности пожилых, это также означает, что они будут проявлять б*о*льшую активность в планировании собственной старости. Тем самым настоящее исследование свидетельствует, по словам его авторов, не только о новых вызовах, но и новых возможностях в оказании социальной поддержки (как формальной, так и неформальной) пожилым людям.

Я.В. Евсеева

2017.03.009. ХОКИ Д. АВТОБИОГРАФИИ «ПОЖИЗНЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ» В ЗЕРКАЛЕ НАРРАТИВНОЙ ТЕОРИИ: ОПЫТ АНАЛИЗА.

HOCKEY D. Narrative theory applied to the autobiographies of three life-course offenders // SAGE open. – Thousand Oaks (CA), 2016. – Vol. 6, N 3. – P. 1–14. – Mode of access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244016658934 [Accessed 04.06.2017.]

Ключевые слова: жизненная траектория; нарративная теория; профессиональные преступники; биографический анализ.

Дэвид Хоки, британский специалист в области криминологии и криминальной психологии (Городской университет Бирмингема; Университет Западной Англии, г. Бристоль), считает целесообразным применение нарративной теории для осмысления жизненных траекторий людей, для которых преступление является образом жизни. В криминологии правонарушителей, преступивших закон в отрочестве и избравших противоправные действия своей профессией, принято называть профессиональными, или закоренелыми, преступниками, рецидивистами (persistent offenders). В криминальной психологии в настоящее время получает распространение понятие «пожизненный преступник» (life-course offender), которое акцентирует не просто перманентность преступных действий, но связь антисоциального поведения и противоправных актов с жизненной траекторией правонарушителя, их устойчивый характер. Как правило, такие преступники в конце концов получают пожизненный срок либо проводят в тюрьме бóльшую часть жизни; некоторые, находясь в пенитенциарных учреждениях, принимают решение покончить с прошлым, достигнув зрелого или преклонного возраста. Жизненный путь этих людей состоит из череды повторяющихся преступлений, из которых с годами складывается профессиональная криминальная карьера. В юные годы правонарушения носят многообразный и случайный характер (мошенничество, кража, разбой, драка, вымогательство, шантаж, насилие, агрессия); по мере взросления преступник вырабатывает свой криминальный почерк и приобретает ту или иную профессиональную специализацию. Как показывают исследования, стиль и тип противоправных действий будущих «пожизненных» преступников ассоциированы с конкретными этапами жизненного цикла. Поэтому большинство объяснительных моделей фокусируется на каком-либо одном виде преступных действий, без соотнесения отдельных криминальных эпизодов с общей жизненной траекторией их субъекта, и объясняют произошедшее «чертами характера», внутренней готовностью к преступлению (агрессивная диспозиция, склонность к насилию) либо «холодным расчетом» и «рациональным выбором». По мнению Хоки, необходима теоретическая платформа, которая могла бы сблизить разрозненные психологические экспликации противо-

правных действий и их мотивов и послужить основанием для интерпретации отдельных событий криминальной биографии преступника «со стажем» в контексте его жизненного пути [с. 1].

Такой объединяющей платформой может стать нарративная теория, которая, как считает автор статьи, обладает огромным потенциалом применительно к задачам криминальной психологии. По наблюдениям криминологов, профессиональные преступники часто и охотно излагают события своей жизни, прибегая к форме нарратива[1]. И это вполне объяснимо, если принять во внимание, что нарратив, по определению, придает событиям прошлого упорядоченный характер и наделяет их общезначимым смыслом, акцентируя роль индивидуального Я рассказчика. Таким образом, анализ нарративного творчества преступников-профессионалов позволит понять мотивы и причины, побудившие их к выбору специфического жизненного пути и подготовившие итоговое решение «соскочить» («завязать», изменить привычный образ жизни и занятий), оставив за собой право на самоуважение и признание обществом их жизни как состоявшейся. В специальной литературе имеет широкое хождение понятие искупительного скрипта – особого нарративного сценария, который используют профессиональные преступники для рационализации событий своей биографии и намерения «соскочить»[2]. Кроме того, исследователи обсуждают возможность использования нарративных моделей для выявления связей между идентичностью преступников «со стажем», их эмоциональным состоянием и когнитивными процессами в момент повествования о событиях прошлого, а также – для идентификации тем, имеющих значение для рассказчика в процессе интерпретации им эпизодов своей биографии[3].

---

[1] Canter D.V. Criminal shadows: Inside the mind of the serial killer. – L.: Harper Collins, 1994; Cornish D.B. The procedural analysis of offending and its relevance for situation prevention // Crime prevention studies / Ed. by R.V. Clark. – Monsey (NY): Criminal justice press, 1994. – Vol. 3. – P. 151–196.

[2] Maruna S. Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. – Wash.: American psychological association, 2001.

[3] Youngs D., Canter D.V. Offender's crime narratives revealed by narrative roles of questionnaire // International j. of offender therapy a. comparative criminology. – L., 2012. – Vol. 57, N 3. – P. 289–311; Ward T., Marshall B. Narrative identity and offender rehabilitation // International j. of offender therapy a. comparative criminology. – L., 2007. – Vol. 51, N 3. – P. 279–297.

Хоки выделяет две нарративные теоретические модели как наиболее релевантные задачам криминальной психологии. Согласно М. и К. Гергенам, нарратив не отсылает к конкретным событиям биографии рассказчика в их действительном проявлении в прошлом, он демонстрирует значение происходившего с точки зрения движения к поставленной цели (приближение, сохранение status quo, удаление); организация фактов в рамках нарратива приобретает смысл исключительно с позиций реализованности поставленной цели, безотносительно к реальным связям между событиями прошлого. При этом смысл автобиографического повествования не является сугубо личностным, он несет на себе печать культурного контекста[1]. Д. Макадамс также выдвигает на первый план значение событий, которое они обретают в самой ткани повествования, независимо от их прошлого фактического содержания. Однако фокусом нарративной схемы в данном случае становится психологическое измерение актов наррации, соотнесение их содержания и специфической формы с этапами жизненного цикла повествователя. В центр нарратива Макадамс помещает героический миф, существующий в сознании рассказчика; на этот имидж Я проецируются различные жизненные события. Нарративное создание мифа обусловлено уровнем психологического и интеллектуального развития повествователя и зависит от ступени его жизненного цикла. У детей еще нет нарративной идентичности, ее заменяют внешние правила и предписания; в юности в нарратив привносится представление о мотивах и целях поведенческих актов, по мере взросления нарратив все больше отражает личные желания, цели и диспозиции[2].

В качестве эмпирического материала в криминологии часто используют данные глубинных интервью. Для нарративного анализа больше подходят автобиографические воспоминания преступников-профессионалов, считает автор. В рамках интервью любой рассказ несет на себе отпечаток ситуативности и сиюминутности, присутствия интервьюера и неосознанного желания рассказчика сообщить о себе то, что от него хотят услышать. Обратившись к

[1] Gergen M.M., Gergen K.J. The social construction of narrative accounts // Historical social psychology / Ed. by K.J. Gergen, M.M. Gergen. – L.: Lawrence Erlbaum, 1984. – P. 173–190.

[2] McAdams D.P. The stories we live by: Personal myths and the making of the self. – L.: Guildford press, 1996.

опубликованным автобиографиям криминальных авторитетов, аналитик получает возможность воссоздать сам процесс продуцирования нарратива, т.е. вербальной реконструкции жизненного пути как рефлексивного процесса, нацеленного на демонстрацию смысла прошлого личного опыта. Кроме того, он может сравнить содержание книги с объективными сведениями, которые зафиксированы в протоколах судебных заседаний и обвинительных заключениях, и таким образом выяснить, какие эпизоды своей жизни автор считает ключевыми и почему. Анализ автобиографических повествований позволяет выявить степень достоверности и убедительности существующих моделей жизненного пути преступников «со стажем», сопоставив теоретические гипотезы с толкованием биографических смыслов самим субъектом криминальных действий.

Руководствуясь этими соображениями, Хоки остановил свой выбор на опубликованных автобиографиях трех известных британских преступников: это Джимми Бойл (главарь банды, вероятный убийца, Глазго, 1960-е годы), Фредди Форман (гангстер, член знаменитой банды братьев Крей, организатор серии громких банковских ограблений, Лондон, 1950–1960-е годы) и Ноэль Смит (гангстер, вероятный убийца, Лондон, 1970–1990-е годы). Все трое являются преступниками-рецидивистами, происходят из городских низов, начали криминальную карьеру в подростковом возрасте, имели проблемы в школе (Смит научился читать и писать в тюрьме), начинали с правонарушений разного типа, выработав впоследствии свой криминальный почерк (modus operandi, MO), получили пожизненные тюремные сроки, написали свои автобиографические книги в годы заключения и закончили криминальную карьеру реализованным желанием «соскочить»[1].

В качестве методологической базы своего исследования Хоки использует психологическую концепцию Н. Хэйеса, предложившего «тематический подход, сопряженный с теорией» (theory-led thematic approach)[2]. Этот подход позволяет «идентифицировать

[1] Boyle J.A Sense of freedom and the pain of confinement. – L.: Pan books, 1995; Foreman F. The godfather of British crime. – L.: John Blake, 2008; Smith N. A few kind words and a loaded gun: The autobiography of a career criminal. – L.: Penguin books, 2004.

[2] Hayes N. Doing psychological research. – Buckingham: Open univ. press, 2000.

теорию, которая объясняет собранные данные, вместо того чтобы заниматься поиском данных, подтверждающих теорию либо порождающих новые», поясняет свой выбор автор статьи [с. 3]. Именно такой методологический принцип сможет продемонстрировать ценность нарративной теории для целостного осмысления жизненного пути преступников «со стажем», которое должно прийти на смену хаотичным интерпретациям разрозненных биографических эпизодов. Кроме того, нарративная теория, подкрепленная методологическими принципами Хэйеса, позволит сопоставить интерпретацию своей жизни криминальным авторитетом с описанными в литературе паттернами устойчивого асоциального поведения. Хоки подчеркивает также свою приверженность реалистической эпистемологии (для которой язык представляет ценность только в качестве инструмента наррации) и теоретическим идеям Д. Макадамса, которые позволяют выявить временной психологический аспект нарративного творчества индивида в контексте его жизненной траектории.

В процессе анализа автобиографий трех преступников-профессионалов Хоки выявил пять главных тем, ассоциированных с «хронологией и пространством жизненного пути» авторов.

I. *Поведенческие тенденции, обусловленные чертами характера*, или цикличность асоциальных / противоправных поведенческих эпизодов (преимущественно в отрочестве и ранней юности), которые не поддаются контролю, несмотря на очевидные деструктивные последствия. Свидетельства Бойла, Формана и Смита подтверждают гипотезу о том, что юные правонарушители демонстрируют поведенческие диспозиции (психологическую предрасположенность, личностные черты), которые препятствуют адекватной социализации подростка[1]. Мемуары трех профессиональных преступников содержат рассуждения о том, как мелкие, а затем и крупные правонарушения в отроческие годы (кражи, драки, мошенничество)

[1] Crick N.R., Dodge K.A. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment // Psychological bull. – Wash., 1994. – Vol. 115, N 1. – P. 74–101; Males of life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways: Follow-up at age 26 years / Moffit T.E., Caspi A., Harrington H., Milne B.J. // Development a. psychopathology. – Cambridge, 2002. – Vol. 14, N 1. – P. 179–207; Stability of aggression over time and generations / Huesmann L.R., Lefkowitz M.M., Eron L.D., Walder L.O. // Developmental psychology. – Wash., 1984. – Vol. 20, N 6. – P. 1120–1134.

совершались ими как будто «помимо воли» и потому, что «нельзя было удержаться»; при этом все трое упоминают о «бесшабашности юности», невозможности себя контролировать и запоздалом раскаянии.

II. Соотношение *возможностей и разнообразия*, или обстоятельств, благоприятствующих осуществлению преступных замыслов, и новых практик их реализации[1]. Бойл, Смит и Форман рассказывают о том, что до начала собственно профессиональной криминальной карьеры они использовали любую случайную возможность «делать деньги» (украсть и продать, обмануть и присвоить и пр.). По замечанию Формана, в юности он был «всегда открыт для новых возможностей», тем более что вместо исчерпавших себя криминальных обстоятельств всегда возникали новые, которые хотелось использовать [с. 5].

III. Привычка, рутина и *сценарии преступлений,* или выработка определенных процедур, следование которым приносит наилучший из желаемых результатов[2]. Благодаря рутинному воспроизведению таких процедур в криминальном опыте вырабатывается техника, повышающая шансы на успех (украсть и не быть пойманным). Близкую объяснительную схему привычных (в данном случае – криминальных) действий предлагает теория скриптов. Эта теория описывает повторяющиеся когнитивные процессы, результатом которых становятся умение, навык или привычка, нацеленные на достижение конкретного результата[3]. В мемуарах Бойла, Смита и Формана содержится рассказ о том, как каждый из них искал и находил коронный способ осуществления противоправных действий, гарантировавший благоприятный исход всего предприятия и личную безопасность участников (разобрать крышу или пол

[1] Crawford A., Evans K. Crime prevention and community safety // Oxford handbook of criminology / Ed. by M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner. – Oxford: Oxford univ. press, 2012. – P. 769–805; Farrington D.P., Synder H.N., Finnegan T.A. Specialization in juvenile court careers // Criminology. – St. Louis (MO), 1988. – Vol. 26, N 3. – P. 461–487.

[2] Bandura A. Human agency in social cognitive theory // American psychologist. – Wash., 1989. – Vol. 44, N 9. – P. 1175–1184; Cornish D.B., Clarke R.V. Understanding crime displacement: An application of rational choice theory // Criminology. – St. Louis (MO), 1987. – Vol. 25, N 4. – P. 933–947.

[3] Schank R.C., Abelson R.P. Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge structures. – Boston (MA): Routledge & Kegan Paul, 1978.

в соседнем с магазином здании; включить сигнализацию до начала ограбления и совершить его после того, как полиция уедет ни с чем и пр.). По мнению некоторых психологов, рутинный способ совершения преступления позволяет сделать заключение об интеллектуальной ограниченности их субъектов, способных мыслить и действовать только «здесь и сейчас»[1]. Другие исследователи (в том числе автор настоящей статьи) обращают внимание на несхожесть криминальных сценариев и поведенческих паттернов правонарушителей, которые были пойманы на месте преступления, и тех, кто раз за разом уходил от закона. В последнем случае привычный, выработанный на практике способ противоправных действий и сами рутинные техники неотделимы от базовой задачи «не быть пойманным» и воспользоваться плодами своей работы[2].

IV. *Специализация, modus operandi* и нарративный процесс, или выбор типа преступления и способа участия в нем. Некоторые психологи называют этот процесс специализацией, т.е. осознанным выбором определенного типа преступных действий, их сценария и своей роли на фоне предшествующих этому выбору всеядности и многогранности. Хоки, однако, считает более уместным понятие modus operandi, обозначающее в данном случае «идиосинкразический стиль поведения в рамках всей последовательности событий в процессе совершения преступления» [с. 6][3]. Судя по мемуарам Бойла, Смита и Формана, каждый из них отдавал предпочтение тому

[1] Ward T., Marshall B. Narrative identity and offender rehabilitation // International j. of offender therapy a. comparative criminology. – L., 2007. – Vol. 51, N 3. – P. 279–297.; Cornish D.B., Clarke R.V. Understanding crime displacement: An application of rational choice theory // Criminology. – St. Louis (MO), 1987. – Vol. 25, N 4. – P. 933–947.

[2] Hockey D.T., Honey R. Evaluating script-like knowledge in offenders and a select group of non-apprehended offenders // Psychology, crime a. law. – Basel, 2013. – Vol. 19, N 2. – P. 161–178; Hockey D.T. Burglary crime scene rationality in a select group of non-apprehended offenders // SAGE open. – Thousand Oaks (CA), 2014. – Apr. 7. – Mode of access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244016640589 [Accessed 04.06.2017.]

[3] Alison L., Eyre M. Killer in the shadows: The monstrous crimes of Robert Napper. – L.: Pennant books, 2009; Hommant R.J., Kennedy D.B. Psychological aspects of crime scene profiling // Current perspectives in forensic psychology and criminal justice / Ed. by C.R. Bartol, A.M. Bartol. – L.: SAGE, 2006. – P. 45–54; Canter D.V., Youngs D. Investigative psychology: Offender profiling and the analysis of criminal action. – Chichester: Wiley, 2010.

или иному способу (стилю) собственного участия в подготовленном им преступлении или выбирал себе постоянную роль в пределах криминального сценария и повторял ее снова и снова. При этом все трое отдавали предпочтение насилию (в той или иной его форме). Так, Форман подчеркивает, что его задача состояла в том, чтобы физически устранять тех, кто попытается помешать ограблению. Все трое предпочли амплуа (нарративную роль) «крепких ребят», «крутых парней», которые готовы на любое физическое противодействие ради достижения цели. В конечном счете modus operandi является не чем иным, как способностью преступника воспользоваться девиантными чертами своего характера, формируя при их участии нарративную идентичность и тип предпочтительных противоправных действий, резюмирует Хоки. «В совокупности нарративная идентичность и МО создают ту или иную нарративную роль, которая актуализируется в рамках криминального сценария» [с. 7]. Опросы, проводившиеся Янгсом и Кантером (71 респондент), позволили выстроить следующую типологию ролей и сопряженных с ними нарративных тем в описании преступниками своего жизненного пути: жертва, мститель, профессионал, герой[1]. Две последние роли наиболее релевантны автобиографической самопрезентации преступников-профессионалов на страницах их мемуаров, замечает Хоки.

V. *Прекращение* карьеры профессионального преступника, действия в соответствии с искупительным сценарием, окрашенным в мрачные тона размышлений о жизни, «в которой все пошло не так»[2]. Согласно модели Маруны, психологический искупительный сценарий – это способ позиционирования себя бывшим преступником в качестве заложника обстоятельств и жертвы социальной несправедливости. В такой интерпретации криминальная карьера и антисоциальные поступки выступают закономерным и объяснимым результатом стремления их субъекта так или иначе «выбиться в люди». Что же касается причин, подготовивших намерение преступника со стажем изменить свою жизнь хотя бы на склоне лет, то Маруна считает определяющим фактором изменение внешних условий и прочие привходящие обстоятельства. Он также подчеркивает, что экс-преступники стремятся не только сохранить стержне-

[1] Canter D.V., Youngs D. Op. cit.

[2] Maruna S. Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. – Wash.: American psychological association, 2001.

вые элементы своего Я, но и подчеркивают его позитивные аспекты в терминах общепринятой морали и социальных ценностей. Анализ биографий Бойла и Смита во многом подтверждает гипотезы Маруны, считает автор статьи. В мемуарах этих криминальных профи можно обнаружить общий доминирующий мотив, который подготовил их выбор криминального образа жизни, – ненависть к несправедливому социальному порядку и охраняющему его закону. Для Смита и Бойла решение покончить с прошлым было принято вслед за улучшением условий пожизненного тюремного заключения; оба подчеркивают, что суть их внутренней трансформации состояла в том, что они направили свою ненависть «в то же русло, но по другим каналам», продолжив борьбу с системой легализованными в этой системе способами (в том числе – актом публикации своей автобиографии).

В заметках всех трех криминальных авторитетов присутствует тема сохранения собственного достоинства и самоуважения, а также тенденция к героизации прошлого, продолжает Хоки. Эту тему (которая завершает настоящее исследование и выступает его обобщением) автор обозначает как воплощение создателем нарратива разрозненных эпизодов своей жизни в стройном сюжете (emplotment). Создание сюжетного повествования, наделенного целостностью и смыслом, происходит путем героизации его главного действующего лица и привнесения в его опыт позитивного социального смысла. Бойл, Смит и Форман описывают себя как «хороших гангстеров», справедливых грабителей, соблюдавших криминальный кодекс чести, не обижавших сирых и убогих и дороживших своей репутацией, и настаивают на своей принадлежности к криминальной элите, канувшей в Лету.

Нарративная теория, пишет в заключение Д. Хоки, в полной мере оправдывает себя в качестве инструмента, объясняющего жизненный путь профессиональных преступников-рецидивистов в качестве целостного опыта, который подчинен возрастной логике личностного развития, имеет свою специализацию и характерный modus operandi. Вместе с тем данная теория не пригодна для интерпретации истоков и самых ранних этапов профессиональной криминальной карьеры, складывающейся под воздействием психосоциальных диспозиций индивида до формирования у него личностной нарративной идентичности.

Е.В. Якимова

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

2017.03.010. БУКМАН С. БРЕНДЫ И ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ: КОФЕ КЛАССА «СПЕШИАЛТИ»[1], ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ГОРОДСКИХ КОФЕЕН КАК ОСОБЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ.
BOOKMAN S. Brands and urban life: Specialty coffee, consumers and the co-creation of urban café sociality // Space a. culture. – Thousand Oaks (CA), 2014. – Vol. 17, N 1. – P. 85–99.

Ключевые слова: бренд; брендинг; городская культура; повседневная жизнь; социальное пространство.

Статья Сони Букман (Манитобский университет, г. Виннипег, Канада) посвящена исследованию влияния брендов как особых культурных феноменов на формирование опыта городской жизни и городской культуры. Заявленная тема раскрывается на примере брендов двух крупнейших сетей кофеен – *Starbucks* и *Second Cup*, – специализирующихся на продаже кофе класса «спешиалти» и представленных в канадских городах Торонто и Ванкувер. Автор рассматривает влияние брендов на городскую культуру как динамический процесс: бренды конструируют рамки повседневного опыта существования форм городской социальности, а сами эти опыт и формы производятся в результате взаимодействия между потребителем и брендом.

Букман указывает на увеличении роли различных брендов как составной части городского «потребительского ландшафта» в экономической и культурной жизни мегаполисов. При этом она подчеркивает наличие пробелов в научно-теоретическом осмысле-

[1] Specialty coffee (спешиалти кофе) – обозначение класса кофе, для изготовления которого используются кофейные зерна высшего качества. – *Прим. реф.*

нии того, как именно бренды участвуют в формировании опыта городской жизни.

С точки зрения методологии автор исходит из противопоставления двух подходов к пониманию брендов – репрезентативного и перформативного. Большинство экспертов, как утверждает Букман, используют репрезентативный подход, в рамках которого бренд рассматривается как изображение или идея, конструируемая элитными группами и навязываемая аудитории в одностороннем порядке [с. 87]. Приверженность данному подходу предполагает акцентирование на визуальном и дискурсивном измерениях бренда, представленных прежде всего рекламой и визуальным оформлением пространства. Опираясь на работу Н. Кляйн «No logo»[1], Букман уточняет, что бренды, понимаемые в рамках репрезентативного подхода, формируют особую реальность, связанную с определенными социальным и культурным опытом, образом жизни, которые усваиваются потребителями и служат для них шаблоном в процессе конструирования своего собственного образа жизни, своей идентичности [там же]. В представлении сторонников репрезентативного подхода процесс передачи информации от бренда к потребителю носит односторонний характер, т.е. открывает возможность для манипуляции потребительским поведением в интересах тех или иных групп, обладающих властью – коммерческих предприятий, экономических и политических элит. Манипуляция в данном случае заключается в колонизации реальной жизни, замещении ее той «реальностью», которую создает бренд [там же].

Второй подход, перформативный, рассматривает бренд в интерактивном ключе. С. Лури[2], одна из главных «идеологов» этого подхода, определяет бренд как «платформу для структурирования деятельности, способ организации деятельности во времени и пространстве» [там же]. Такого рода «платформа» служит способом коммуникации для производителей и потребителей товаров / услуг, что, в отличие от предыдущего подхода, позволяет констатировать наличие пусть и не равноценного, но обмена информацией. Бренд рассматривается как «открытый» объект, т.е. находящийся в посто-

[1] Klein N. No logo: Taking aim at the brand bullies. – Toronto: Knopf Canada, 1999.

[2] Lury C. Brands: The logos of the global economy. – L.: Routledge, 2004.

янном процессе развития продукт взаимодействия между товарами / услугами и более широким контекстом повседневной жизни потребителей [с. 87–88]. Соответственно, ключевым элементом, на котором сосредоточивается внимание исследователя, становится включенность потребителя в процесс производства бренда. Бренд, как отмечает Букман, прежде всего задает «рамку действия» («frame of action») для потребителей, т.е. рамку использования товара / услуги, сопряженного с формированием различного рода опыта, смыслов, социальных идентичностей [с. 88]. Таким образом, данный подход в большей степени сосредоточен на процессе создания бренда как культурной формы и участии потребителя в этом процессе. Исследование Букман было проведено именно в рамках этого подхода.

В качестве объектов своего исследования Букман использовала бренды *Starbucks* и *Second Cup*, которые, как она отмечает, можно описать в качестве брендов, ориентированных на получение опыта (experiential brands): сервисный ландшафт этих кофеен сконструирован таким образом, чтобы способствовать возникновению социальных взаимодействий и получению посетителями гедонистического / эстетического опыта [с. 89]. Эмпирическую базу исследования составили материалы включенных наблюдений, полуструктурированные интервью с потребителями и производителями брендов (бариста, франчайзи, директоры по маркетингу), а также визуальные материалы, так или иначе связанные с брендом[1].

Анализ вклада брендов в городскую культуру Букман начинает с той «рамки», которую задают бренды *Starbucks* и *Second Cup* для своих потребителей, т.е. с рассмотрения сервисного ландшафта кофеен. Используя терминологию Р. Ольденбург, автор описывает кофейни указанных брендов в качестве «третьих мест»: пространства неформальных встреч, находящиеся между домом (первым местом) и работой (вторым местом), в которых люди вступают в различного рода социальные взаимодействия, начиная от беглых взглядов и заканчивая разговорами [с. 88][2]. Букман выделяет три основных способа конструирования ощущения «третьего места», намеренно используемых *Starbucks* и *Second Cup*: дизайн интерьера

[1] Данные были собраны в 2002–2005 гг. – *Прим. реф.*

[2] Oldenburg R. The great good place. – N.Y.: Marlowe, 1989.

кофеен, интеграция последних в местное сообщество и работа персонала. С помощью мебельного, цветового, музыкального, светового оформления создаются, с одной стороны, визуальная репрезентация бренда, а с другой – непринужденная атмосфера «третьего места», поощряющая людей взаимодействовать друг с другом. Однако Букман делает важное уточнение: обстановка кофеен благоприятствует скорее интимным, личным разговорам, нежели публичным дискуссиям [с. 89–90]. Интеграция брендов в местное сообщество как стратегия создания «третьего места» подразумевает, во-первых, включение в сервисный ландшафт кофеен смыслов, имеющих значение для сообщества [с. 90]. В качестве примеров Букман приводит установку в кофейнях досок объявлений, использование для оформления кофеен картин местных художников. Во-вторых, интеграция осуществляется за счет «вплетения» кофеен в географию местных городских сообществ с помощью использования архитектурных особенностей зданий, размывающих границы между внутренним пространством кофейни и внешней средой улицы (большие окна, патио), а также за счет размещения кофеен в оживленных и джентрифицированных кварталах [там же]. И, наконец, последний способ конструирования «третьего места», который выделяет Букман, это так называемый «эстетический труд» бариста, способствующий формированию эмоциональной связи с покупателями. Данный труд является эстетическим, так как подразумевает характерный способ взаимодействия с потребителем, в частности, как считает автор, в случае кофеен *Starbucks* и *Second Cup* он включает в себя три основных качества: дружелюбие, гостеприимство и «узнавание» постоянных посетителей [там же]. Через организацию сервисного ландшафта бренды кофеен конструируют «третьи места», однако, как утверждает Букман, только благодаря активному участию потребителей они действительно становятся таковыми [с. 91].

Основываясь на результатах наблюдений, проведенных в кофейнях, Букман делает вывод о том, что в них имеет место совместное участие посетителей и производителей брендов в создании ощущения «третьего места». Посетители кофеен одновременно вовлечены в разные виды деятельности и в разной степени включены в социальные взаимодействия с персоналом и другими посетителями, однако их частный опыт неизменно оказывается зависим от

опыта других посетителей [с. 92]. В качестве примера Букман приводит отрывок из интервью, в котором проблематизируется совместное пребывание в пространстве кофейни шумных компаний и отдельных людей. Таким образом, ощущение «третьего места» носит вариабельный характер и зависит от специфики посетителей кофеен в определенном районе города и в определенное время дня, так как данное ощущение производится совместно [там же].

Как полагает Букман, атмосфера «третьего места» и контекст деятельности посетителей кофейни в значительной степени формируются за счет «циркуляции гостеприимства», которая осуществляется как персоналом кофейни, так и ее посетителями [с. 92]. Помимо вежливого обращения и дружелюбия персонала, которые составляют суть их эстетической работы, гостеприимство заключается в том, что посетителям предоставлена возможность оставаться в пространстве кофейни неограниченное количество времени. Гостеприимство в кофейнях существует как «ситуационная этика», т.е. право на пользование этим «гостеприимным» пространством, на участие в его «создании» посетители получают через покупку еды и напитков [с. 93]. При этом, несмотря на условный характер нормы гостеприимства, она не обладает строго утилитарным смыслом, подразумевающим продажу еды и напитков при минимальном взаимодействии с посетителем, а является, как было упомянуто выше, частью эстетической работы бариста.

Участвуя в создании атмосферы «третьего места», посетители кофеен формируют определенные паттерны социальных связей и режимы встреч – Букман называет это явление «социальностью городских кофеен» (urban café sociality) [с. 93]. Социальность городских кофеен связана как с возможностью анонимно находиться среди людей, смешаться с окружением, так и с возможностью использовать их в качестве места встречи. При этом Букман отмечает, что посетители необязательно посещают одно и то же заведение постоянно – сетевой характер и единый формат кофеен позволяет гарантированно получить ощущение «третьего места» в разных точках города [с. 93–94]. Подводя итог рассмотрению участия потребителей в производстве ощущения «третьего места» в кофейнях, Букман обращает внимание на то, что социальность городских кофеен составляет основу культуры кофеен как части социальной жизни горожан и способствует размыванию границ между коммо-

дифицированной коммерческой культурой и «настоящей» повседневной культурой, производством и потреблением, объектами и субъектами [с. 94].

В ходе дальнейшего анализа Букман переходит к вопросу о том, как потребители «проживают» бренд через практики повседневной жизни. Использование кофеен в качестве «третьих мест» встраивается в общую систему ежедневных телесных практик (прогулка с собакой, дорога на работу и т.д.) и становится для горожан ритуалом [с. 94]. Участвуя в процессе производства бренда, постоянные посетители становятся хорошо знакомы с обстановкой кофейни и культурой бренда, в результате чего формируется чувство принадлежности, сопричастности бренду. Это чувство находит воплощение, во-первых, в положительных эмоциях, связанных с нахождением в пространстве кофейни или же просто с ее видом – ощущением себя «как дома». Бренд, таким образом, служит эмоциональным и пространственным ориентиром для горожанина [с. 95]. Во-вторых, это чувство воплощается в принадлежности к «племени», которое разделяет общий образ жизни (lifestyle tribe) – ценности, смыслы, традиции, паттерны поведения [там же]. Здесь Букман делает важное уточнение, указывая на неравенство возможностей в формировании чувства принадлежности бренду. Посетителями таких кофеен являются преимущественно представители среднего класса, финансовые возможности которых позволяют оплатить нахождение в пространстве кофейни, пользование ее сервисным ландшафтом. Автор делает вывод о том, что с помощью такого ограничения доступа бренды способствуют созданию эксклюзивных городских «брендовых пространств» [с. 96].

В заключение Букман вновь подчеркивает, что бренды не является исключительно коммерческими продуктами: они «проживаются» потребителями, воплощаются ими в жизнь и встраиваются в повседневную жизнь горожан через создание общих смыслов, опыта и социальных миров [с. 97]. Бренды предоставляют собой платформы, на которых разворачиваются гибридные формы городской культуры.

Я.А. Багина

2017.03.011. ФЮРЕДИ Ф. МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА И ЧТЕНИЕ: ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ТРЕВОГА ЭЛИТ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЯ.
FUREDI F. Moral panic and reading: Early elite anxieties about the media effect // Cultural sociology. – L., 2016. – Vol. 10, N 4. – P. 523–537.

Ключевые слова: моральная паника; медиа; литература; газеты; элиты; медиавоздействие; чтение; романы; мораль; моральный порядок.

В статье социолога Фрэнка Фюреди (Университет графства Кент, г. Кентербери, Великобритания) представлен исторический обзор, посвященный моральной панике, возникающей с появлением новых носителей информации и медиа. Термином «медиа» Фюреди называет все виды письменных и печатных носителей и средств коммуникации вне зависимости от их распространенности. Появление новых медиа, отмечает автор, воспринимается как угроза моральному порядку. В обзоре он фокусирует внимание на моральной панике, связанной прежде всего с письменностью и чтением.

Ключевая идея Ф. Фюреди заключается в том, что появление и распространение любого нового носителя информации связано с возникновением моральной паники у представителей элиты общества, выражающейся в тревожном ожидании негативного влияния на мораль. Автор считает, что такого рода настроения наиболее ярко проявились в XVIII–XIX вв. в Англии, поэтому именно к этому периоду он обращается в своей работе. Фюреди обобщает и систематизирует выводы значительного массива исследований медиа, а также использует анализ документов. Так, представленная в работе хронология исторических отсылок основывается на данных, полученных благодаря Google Ngram Viewer по термину «моральная паника».

По мнению автора, несмотря на то что один из основоположников профессиональной социологии Эмиль Дюркгейм представлял ее в качестве «науки о морали» (*la science de la morale*), в последние десятилетия в академическом сообществе эта «заповедь» классика не вспоминалась, а социологи предпочитали дистанцироваться от исследования морали и моральной природы социальных явлений. В современной социологии аргументация, основанная на морали, как правило, отвергается как наивная и ненаучная или вос-

принимается как риторический прием. Применительно к исследуемому понятию автор солидаризируется с позицией Д. Роу, который полагает, что из-за специфических коннотаций вокруг понятия морального сочетание прилагательного «моральная» с существительным «паника» обусловливает «уничижительное коннотативное измерение»[1]. Несмотря на это, Фюреди считает, что тема моральной паники и влияния, оказываемого медиа, требует изучения, а сам термин «моральная паника» – важная исследовательская категория. Моральная паника часто определяется как чрезмерная реакция на определенное происшествие или событие, однако, основываясь на работе английских социологов А. Макробби и С. Торнтон[2], автор отмечает, что при изучении данного явления важно отслеживать, как именно в тот или иной момент конституируется моральная паника, а это в свою очередь непосредственно связано с существующими в конкретном обществе моральными конфликтами.

Говоря о моральном порядке, Фюреди определяет его как «глубинную структуру моральной жизни, посредством которой люди и сообщества понимают происходящее» [с. 524]. Кроме того, моральный порядок указывает на «латентные и, как правило, не проговоренные рамки авторитета, телеологии, антропологии и нарратива, которые имеют тенденцию определять значимый порядок и преемственность в культуре»[3]. В связи с этим автор рассказывает об истории использования термина «моральная паника». Его первое употребление в англоязычных публикациях обнаружено в 1830 г., хотя и в другом значении – это понятие обозначало религиозную дезориентацию индивида, и в дальнейшем на протяжении более чем 150 лет в основном оно использовалось в религиозном контексте. В современном значении этот термин был впервые применен в 1895 г. в связи с выходом в Канаде новых законов, регулирующих продажу алкоголя. Тогда было заявлено, что «запреты вызывали волну моральной паники» [с. 526].

---

[1] Rowe D. The concept of the moral panic: A historico-sociological positioning // Moral panics, the media and the law in early modern England / Ed. by D. Lemmings, C. Walker. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 22–40.

[2] McRobbie A., Thornton S.L. Rethinking «moral panic» for multi-mediated social worlds // British j. of sociology. – L., 1995. – Vol. 46, N 4. – P. 559–574.

[3] Dill J., Hunter J. Education and the culture wars // Handbook of the sociology of morality / Ed. by S. Hitlin, S. Vaisey. – N.Y.: Springer, 2010. – P. 288.

Автор также прослеживает эволюцию употребления понятия моральной паники в качестве социологической категории. Он начинает данный раздел с рассмотрения первоначального определения, представленного С. Коэном: «состояние, ситуация, в котором человек или группы людей воспринимаются и определяются как угроза существующим в обществе ценностям»[1]. С этим понятием работал также Ч.Р. Миллс, который подчеркивал, что воспринимаемая угроза общественным ценностям бросает вызов главенствующей системе смыслов и тем самым дезориентирует членов общества, а то, чувствуют ли члены общества себя дезориентированными, напрямую связано с противоречиями в существующей системе смыслов[2]. Таким образом, подчеркивает автор, социологическое понятие моральной паники напрямую связано с идеями Миллса, поэтому исследования моральной паники позволяют «распутать паутину значений, через которые люди придают смысл своему опыту» [с. 524].

Далее автор пишет, что его исследование указанного исторического периода показало глубокую предрасположенность людей к моральной панике в отношении любого нового носителя информации и соответствующего вида коммуникации. Так, например, он утверждает, что исторический опыт тревоги и паники по поводу новых письменных носителей коммуникации напрямую связан с беспокойством по поводу сохранения существующего морального порядка.

Автор обращает внимание на то, что большое количество исследований медиа[3] показывает, какую значительную роль они играют в производстве и воспроизводстве моральной паники. Однако часто в этих исследованиях роль медиа рассматривается односторонне – они воспринимаются как алармистский инструмент усиления того или иного послания, а не как само собой разумеющееся фокусирование на моральных вопросах. Фюреди утверждает, что порождение и продвижение так называемых «иррациональных страхов» – это только часть динамики и воздействия медиа. Крайне

[1] Cohen S. Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers. – N.Y.: Psychology press, 2002. – P. 1.

[2] Mills C.W. The sociological imagination. – N.Y.: Oxford univ. press, 1959.

[3] См., например: Critcher C. Critical readings: Moral panics and the media. – Maidenhead: McGraw-Hill education, 2006.

важно для понимания природы моральной паники, что в качестве угрозы существующему моральному порядку воспринимается не *содержание* того или иного медиасообщения, а *сами медиа* и их предположительно «токсичный эффект», оказываемый на мораль отдельных людей и целых сообществ [с. 526].

Опираясь на исследование К. Литтау[1], автор отмечает, что с момента изобретения письменности, буквально каждое новое средство коммуникации становилось объектом подозрения со стороны представителей элит. Это беспокойство приводило к тревогам по поводу потенциального воздействия на моральное поведение их аудитории, так как каждое новое средство передачи информации создает способ коммуникации, с помощью которого может передаваться альтернативное моральное знание, и увеличивает вероятность непредсказуемых последствий для морального порядка. Обобщая множество исторических примеров, Фюреди утверждает, что, хотя академический интерес к воздействию медиа на поведение людей появился только в XIX в., это влияние всегда находилось под пристальным вниманием культурной, религиозной и политической элит. Например, было время, когда католическая церковь отстаивала идею о том, что массовый доступ к книгам и распространение чтения крайне опасны для общества, поскольку доступ больших групп людей к печатному слову может стать непосредственной причиной зарождения и распространения ереси.

Многие из тех процессов, которые касались книг и чтения, тем же образом относятся и к электронным средствам коммуникации. В знаменитой работе М. Маклюэна «Понимание медиа: Внешние расширения человека»[2], по мнению Фюреди, понятие моральной паники было впервые связано с развитием новых медиа. Маклюэн обращал внимание на распространение страхов вследствие того, что электронные медиа могут угрожать моральному порядку, основанному на печатном слове (print-based moral order), вскрывая тесную взаимосвязь проблем медиа и общественной тревожности и напряжения.

Автор также ссылается на К. Дротнер, которая использовала термин «медиапаника» (media panic) в значении «паника по поводу

[1] Littau K. Theories of reading: Books, bodies and bibliomania. – Cambridge (MA): Polity, 2006.

[2] McLuhan M. Understanding media: The extensions of man. – Cambridge (MA): MIT press, 1994.

медиа»[1], для того чтобы подчеркнуть тенденцию, согласно которой изменения и инновации в сфере медиа приводят к вспышкам тревоги и страха по поводу их последствий. Такие реакции были особенно характерны для периода распространения массового издания и чтения книг в XVIII в. в Англии. Сначала в течение большей части XVIII в. сравнительно гомогенное медиаполе позволяло господствующей элите относиться к прессе скорее положительно, т.е. как к институту, который может осуществлять моральное управление и способствовать просвещению. Тогда считалось, что печатное слово могло воздействовать на существующие предубеждения и проявления невежества. Автор называет это время консервативным периодом прессы, когда ее отношения с населением и потенциальное влияние на него еще не было значительным. Практически до конца XVIII в. большинство публикаций в прессе основывалось на общеразделяемом нормативном фундаменте; затем начался следующий период, характеризовавшийся тем, что публикации стали более разнообразными, общество – более поляризованным. Далее беспокойство относительно потенциальных моральных эффектов от них стало стремительно нарастать.

Коммерциализация публикаций в прессе, приведшая к возрастанию конкуренции, наряду с увеличивающимся объемом читающей публики поднимала новые вопросы, касавшиеся потенциальных эффектов медиа. Так, к концу XVIII в. в высших слоях как религиозной, так и светской публики назревала тревожность относительно возможности прессы насаждать то, что считалось аморальным. Автор утверждает, что те же самые опасения касались и художественной литературы, в особенности жанра романа. Например, моральная паника в связи с воздействием романа Г. Гёте «Страдания юного Вертера» была связана с восприятием этой книги как имеющей потенциальную возможность увеличить количество самоубийств среди молодых людей. Это была одна из первых моральных паник, возникших по поводу литературного произведения. Кроме того, важной особенностью этого периода автор статьи считает настороженность и озабоченность политической и культурной элиты стремительно растущим процентом читающих лю-

[1] Drotner K. Dangerous media? Panic discourses and dilemmas of modernity // Paedagogica historica. – Gent, 1999. – Vol. 35, N 3. – P. 593–619.

дей. Автор полагает, что потенциальная массовая грамотность представлялась угрозой существовавшему моральному порядку.

Опыт XVIII–XIX вв. показывает, что беспокойство поводу потенциального негативного влияния прессы и художественной литературы возникало *до того, как появлялись любые из предвидимых последствий*. На основе исследования крайне заряженного поля обсуждений вокруг вопросов массовой грамотности и популярной культуры Фюреди приходит к выводу, что ключевой причиной моральных паник было то, что моральный порядок воспринимался как нечто, способное предопределять существующие установки и поведение. Язык этих опасений оставался языком морали и этики, т.е. вопрос о том, что хорошо или плохо, был по сути вопросом добра и зла. Таким образом, среди представителей элит бытовала моральная паника по поводу того, что медиапотребление способно повлечь принятие индивидами «аморальных» решений. По мнению автора, для XVIII и XIX вв. характерно восприятие медиа со стороны религиозной, культурной и политической элит как угрозы их моральному авторитету и моральным ценностям в целом.

В XX в., по мнению автора, тенденция изменилась, поскольку в этой сфере произошел значительный сдвиг от морального дискурса к научному и медицинскому. Таким образом, панические реакции на медиа в XX в. стали фокусироваться на потенциальных угрозах, которые медиа несут физическому и ментальному здоровью читателя, нежели его морали, хотя такие тенденции наблюдались уже в конце XIX в.

Подводя итог, Ф. Фюреди отмечает, что его исследование морального дискурса, через который прорабатывались реакции на художественные произведения и публикации в прессе, показало, что эти реакции были в основном обусловлены желанием элит укрепить притязания на моральный авторитет. Эти реакции, по мнению автора, лучше всего объясняются с помощью понятия моральной паники, особенно если говорить о периоде печати конца XIX в. По мнению Фюреди, не существует достоверного подтверждения или опровержения того, что моральная паника оказывала ощутимое воздействие на реальное поведение людей, а также на их медиапотребление, хотя в этом направлении возможны дальнейшие исследования. Однако, несмотря на описанные в работе явления, связанные с моральной паникой, с течением времени спрос на

художественную литературу и СМИ только возрастал вплоть до прихода эпохи электронных медиа. Поэтому термин «паника» стоит использовать, как считает Фюреди, лишь применительно к дискурсу, существующему внутри элит. Что касается нашего времени, то к панике политической и культурной элит по поводу печатных изданий добавилась паника из-за новых медиа. Автор связывает это с неверием в то, что моральные и интеллектуальные качества медиапотребителей позволят им сопротивляться потенциальным негативным воздействиям физическому и психологическому здоровью, а также моральному поведению.

С.К. Нарьян

2017.03.012. УЭСТ К., ГЛИНОС Дж. «РАЗГОВОРЫ О СМЕРТИ», «РАЗГОВОРЫ ОБ УТРАТАХ» И ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ.
WEST K., GLYNOS J. «Death talk», «loss talk» and identification in the process of ageing // Ageing a. society. – Cambridge, 2016. – Vol. 36, N 2. – P. 225–239.

Ключевые слова: диалектика третьего-четвертого возраста; фантазии; Реальное; скорбь; Ж. Лакан.

Начало данному исследованию Карен Уэст (Астонский университет, г. Бирмингем, Великобритания) и Джейсона Глиноса (Эссексский университет, г. Колчестер, Великобритания) положил призыв известного политика, телеведущей и «защитника прав пожилых людей», как ее характеризуют авторы статьи, баронессы Джоан Бейквелл «больше говорить о смерти» («engage in death talk»). Уэст и Глинос видят в ее призыве весомый этический потенциал, однако, будучи высказанным в контексте культуры, ценностями которой являются независимость и выбор, этот призыв, с точки зрения данных исследователей, теряет свою силу и превращается в не что иное, как стремление установить контроль над концом жизни. По их мнению, «разговор о потерях» («loss talk») лучше отражает этические стороны трансформации, происходящей в процессе старения, и выводит «разговор о смерти» на качественно иной уровень.

В ходе онлайн-дискуссии, проводившейся в 2013 г. фармацевтической компанией «Astellas» с участием самых разных специали-

стов, занятых вопросами старения (ученых-геронтологов, медицинских работников, экономистов, представителей некоммерческих организаций и пр.)[1], Дж. Бейквелл выступила с вышеупомянутым заявлением. Согласно ей, британскому (и в более широком понимании – современному западному) обществу необходимо говорить о смерти, поскольку в конце жизни, пусть даже и все более долгой, это то, что ожидает каждого. Оттого нужно внимательно и непредвзято рассмотреть все «мифы, страхи и угрозы», сопряженные с процессом умирания и принять смерть как важнейший переход в человеческой жизни; это также будет способствовать так называемой хорошей смерти, т.е. смерти, действительно удовлетворительной для индивида. По мнению Уэст и Глиноса, внимание к процессу умирания и упоминание хорошей смерти переносит акцент на подготовку к концу, желание установить над ним контроль. Кроме того, здесь остается недосказанным тот момент, что подразумеваемый Бейквелл индивид боится не смерти как таковой, а скорее утраты физических и интеллектуальных способностей. Так что если развивать эту мысль, то «разговор о смерти» лучше вести сквозь призму таких феноменов, как фантазии, утраты и скорбь. Установление контроля над смертью, по мысли Уэст и Глиноса, вписывается в стратегии так называемого позитивного старения, делающего ставку на здоровый и успешный третий возраст и отодвигающего трудности, болезни и утраты на четвертый возраст, тем не менее необходимо посмотреть в лицо боли, немощи и неопределенности, без чего невозможно действительное принятие смерти. Фантазии в том смысле, какой им придавал Ж. Лакан, отражают наше желание собственной полноты как субъектов, в то время как четвертый возраст соответствует лакановскому Реальному, т.е. тому, что не укладывается в существующие знаковые системы, но в то же время не может быть отринуто. По Гиллеарду и Хиггсу, четвертый возраст – это «искаженное изображение в зеркале третьего возраста»[2]. Третий и четвертый возрасты соотносятся как норма и патология, в связи с чем четвертый возраст не может быть ассимилирован в

[1] The age crunch: The Astellas innovation debate 2013. – 19.11.2013. – Mode of access: http://www.innovationdebate.com/watch-live/2013-watch-live [Accessed 08.05.2017.]

[2] Gilleard Ch., Higgs P. Aging without agency: Theorizing the fourth age // Aging a. mental health. – Abingdon, 2010. – Vol. 14, N 2. – P. 121–128.

дискурс позитивного старения. В рамках рассматриваемой дискуссии разговор о смерти, указывают авторы статьи, свелся к разговору о «хорошей» смерти, т.е. привычному паттерну достойного умирания с минимумом физической и эмоциональной боли – дома либо в иных комфортных условиях, в окружении близких людей, с необходимым уходом, а сейчас еще и эвтаназией в случае необходимости. Однако, с их точки зрения, необходим иной «разговор о смерти», а именно «разговор об утратах».

Как пишут Уэст и Глинос, характерные для неокапиталистической / неолиберальной культуры фантазии о самодостаточности и независимости заключают индивида в порочный круг, в котором он всеми силами старается избежать зависимого состояния и тем самым все больше боится потерять свои физические и интеллектуальные способности. При этом происходит дистанцирование от тех, кто явно потерпел неудачу на этом пути, что имеет место и на межличностном уровне, и на уровне государственной политики и может принимать вид как недоброжелательности, так и сочувствия. Корни нашего отношения к смерти, а значит, и возможного изменения этого отношения, отмечают Уэст и Глинос, лежат в процессах идентификации. Центральной здесь является идея потери идентичности и ее трансформации либо формирования новой идентичности. Соответственно, нужно разобраться с тем, какие усилия мы прилагаем для сохранения фантазий, на которые опирается наша идентичность, и как мы можем ослабить их власть над нами. Для иллюстрации того, как поддерживается, усиливается и потенциально может преодолеваться граница между третьим и четвертым возрастом, авторы приводят пример специализированного жилья для пожилых людей, где те в случае необходимости могут получить уход (assisted-living environment, альтернатива как домам для престарелых, так и поселкам для пенсионеров; подробно освещалась в другой статье[1]). В постояльцах поощряют независимость и ответственность за собственное здоровье. Тем не менее потери (смерть других постояльцев, своя тяжелая болезнь, указывающая на собственную смерть в будущем) происходят постоянно. При этом вре-

[1] Narrative, fantasy and mourning: A critical exploration of life and loss in assisted living environments / Glynos J., West K., Hagger B., Shaw R. // The psychosocial and organization studies / Ed. by K. Kenny, M. Fotaki. – L.: Palgrave Macmillan, 2014. – P. 185–214.

мени для того, чтобы пережить потерю, «отгоревать», не выделяется, в результате чего скорбь «блокируется». Пожилые люди проецируют свои страхи на других и, хотя сами имеют инвалидность, винят чужую инвалидность во всех бедах. Тем самым постояльцы поддерживают границу между третьим возрастом (своей фантазийной успешностью) и четвертым возрастом (неуспехом других). Однако такой сценарий взаимоотношений двух возрастов не представляется авторам единственно возможным. Как они полагают, многое зависит от способности индивида перерабатывать и творчески интегрировать потери в свою жизнь на данном этапе. Для этого требуются два условия: 1) ритуалы, способствующие публичному переживанию потерь; 2) контекст, позволяющий адаптировать потери в индивидуальное и коллективное существование. Тем самым будет активизирован «разговор о потерях», который авторы называют этической и творческой аффективной практикой и который будет выгодно отличаться от «разговора о плохой смерти» – аффективной практики, отказывающей индивиду в праве на горе и объясняющей потери пробелами в здоровом и успешном образе жизни. Согласно Уэст и Глиносу, мы должны принять неотвратимость и постоянство потерь в нашей жизни, и ответом на это должна стать более активная вовлеченность в разговоры о потерях и скорби. Так авторы данной статьи развивают призыв Дж. Бейквелл больше говорить о смерти.

Я.В. Евсеева

СОЦИОЛОГИЯ НАСИЛИЯ

2017.03.013–014. ОТ УЛИЧНОЙ ГРУППИРОВКИ К ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ *MARA SALVATRUCHA* СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОЦИОЛОГИИ. (Сводный реферат).

2017.03.013. CRUZ J.M. La transformación de las maras centroamericanas // Cuestiones de sociología. – La Plata, 2014. – Vol. 1, N 10. – P. 1–7. – Modo de acceso: http://www.cuestionessociologia. fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a14/6061 [Accedido 04.06.2017.]

2017.03.014. FITZPATRICK J.S. Globalization – the beginning and the end of MS-13? // J. of global security studies. – Oxford, 2013. – Vol. 4, N 4. – P. 1–9.

Ключевые слова: насилие; преступность; Mara Salvatrucha; сплоченность; Сальвадор; США.

В своей работе «Трансформация центральноамериканских “марас”» Хосе Мигель Крус (Международный университет Флориды, США) пытается ответить на вопрос, каким образом уличные банды, сложившиеся в Лос-Анджелесе в 70–80-х годах XX в., а именно «мексиканская» *Barrio 18* и «сальвадорская» *Mara Salvatrucha,* к 2014 г. превратились в наиболее опасные организованные преступные группировки (ОПГ) Латинской Америки. Так, на сегодняшний день в *Mara Salvatrucha* (или *MS-13*) и *Barrio 18* (изначально носившей название «Банда с 18-й улицы») состоят более 50 тыс. жителей стран центральноамериканского «северного треугольника» – Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Автор статьи находит неполным наиболее популярное объяснение причин данного феномена, предлагающее рассматривать происходящее сквозь призму особенностей циркулярной миграции между США и Центральной Америкой (ЦА). Безусловно, предпринятые Вашингтоном меры по депортации «пандильерос» – членов городских молодеж-

ных банд – на родину способствовали становлению «марас» – транснациональных преступных сетей в ЦА. Однако, по мнению Х.М. Круса, переход «марас» на более высокий уровень организации был в первую очередь обусловлен спецификой антикриминальной политики государств ЦА, ориентированной на избыточное применение насилия [013, с. 1].

Уличные банды обратили на себя внимание центральноамериканских властей с завершением периода гражданских войн в регионе, т.е. в конце 80-х годов XX в. При этом первые «марас» идентифицировались с контролируемой территорией, что находило отражение в самоназвании преступных сообществ. Например, группировка, действовавшая на площади Морасан в центре Сан-Сальвадора, была известна под именем Mara Morazán [013, с. 2].

В начале 1990-х годов, когда в регион стали возвращаться повзрослевшие дети тех, кто некогда бежал в США от ужасов гражданской войны, эта модель четкого территориального разделения преступных группировок начала меняться. «Костяк» возвратной миграции молодежи составили те, кто вырос в неблагополучных городских районах Южной Калифорнии: усвоенные ими образцы поведения, нормы и ценности американских уличных банд они успешно распространили в преступной среде страны происхождения. Транслируемые этой группой культурные фреймы, или «социальные переводы» (в терминах гарвардского социолога Пегги Левитт[1]), были в ускоренном режиме интегрированы бандами, зародившимися в ЦА. Подобного рода открытость «принимающей стороны» всему новому была продиктована стремлением представителей местных преступных сообществ выйти на максимально эффективный уровень взаимодействия с уже прибывшими и продолжающими прибывать криминальными элементами.

Но не внешним воздействием, а сугубо эндогенными причинами объяснялось объединение молодых латиноамериканцев в

[1] Отмечая, что денежные переводы трудовых мигрантов для многих бедных стран являются значимым и устойчивым источником внешнего финансирования, Пегги Левитт полагает необходимым ввести и такое понятие, как «социальные переводы», т.е. совокупность норм и традиций, характерных для принимающих государств, привносимая иммигрантом в социокультурное пространство страны происхождения при условии сохранения им каких-либо связей с родиной. – *Прим. реф.*

уличные банды. Согласно данным опросов начала 1990-х годов, иммигрантами были лишь 14% из «бойцов» сальвадорских «марас». Истинная причина криминализации молодежи ЦА заключалась в том, что повседневную жизнь этой возрастной когорты определяли экономическая маргинализация, социальное отчуждение и насилие. То есть те условия, которые изучавший уличные банды Южной Калифорнии Диего Вихиль обозначил термином «многоаспектная маргинальность»[1] [013, с. 3].

Таким образом, центральноамериканские «марас» были в первую очередь продуктом регионального процесса экономического отчуждения. В данном контексте импортированные извне культурные нормы и модели идентичности, сформировавшиеся в условиях имущественного и социального расслоения североамериканских мегаполисов, оказались как никогда более востребованы молодежью неблагополучных латиноамериканских кварталов. «Дело» *MS-13* и *Barrio 18* было продолжено, как, впрочем, и их взаимное противостояние. Разделить коллективную идентичность для новообращенных членов *Mara Salvatrucha* означало вступить в конфликт с идейными наследниками «Банды с 18-й улицы» и *vice versa*. В войну двух преступных клик «северного треугольника» были втянуты практически все криминальные группировки. Разделение мира уличных банд ЦА на два «лагеря» имело своим закономерным следствием усиление сплоченности формально независимых представителей одной стороны наряду с возрастанием жестокости противоборства между самими «лагерями».

Ужесточение государственной антикриминальной политики в начале 2000-х годов дало новый импульс очередной трансформации молодежных вооруженных группировок. Правительства стран «северного треугольника» перешли к тактике «нулевой терпимости» в отношении организованной преступности. Взятая ими на вооружение политика «железного кулака» (politica de mano dura) допускала возможность помещения человека в тюрьму лишь на основании подозрения в связях с уличными бандами. Были запущены медийные кампании, призванные назначить «марас» главными виновниками роста насилия в регионе. К полицейским операци-

[1] Vigil J.D. Barrio gangs: Street life and identity on Southern California. – Austin: Univ. of Texas press, 1988.

ям привлекались армейские подразделения. На и без того переполненные тюрьмы обрушился поток новых заключенных. В Сальвадоре за период с 2003 по 2005 г. были отправлены за решетку почти 31 тыс. «пандильерос»; в Гватемале за год помещены в тюрьмы более 20 тыс. членов уличных банд [013, с. 4].

Но в институционально неразвитых странах Латинской Америки столь жесткое наступление на уличную преступность обернулось совершенно непредсказуемыми последствиями. В конечном итоге репрессивные меры государства привели к укреплению криминальных сетей.

Замкнутое пространство тюрем благоприятствовало установлению и последующему расширению сети контактов представителей территориально разъединенных группировок, формированию новой, более сложной иерархии взаимодействия национального уровня. Сплочению различных банд отчасти способствовало решение не допускать объединения в рамках одной тюрьмы «бойцов» двух основных криминальных «лагерей» – *MS-13* и *Barrio 18*.

«Социальная зачистка» проводилась правоохранительными органами с избыточной жестокостью и сопровождалась многочисленными нарушениями прав человека, что также негативно сказывалось на морально-психологическом климате в обществе.

На действия властей преступники ответили расширением спектра нелегальных практик и криминальным террором – массовыми расстрелами гражданских лиц, нападениями на служителей закона, тюремными бунтами. К 2011 г., когда правительства официально объявили об отказе от политики «железного кулака», показатель преднамеренных убийств в Сальвадоре и Гондурасе, по данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), составлял свыше 70 на 100 тыс. жителей[1] [013, с. 5].

[1] Показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тыс. человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе. Этот показатель часто понимается как индекс уровня насилия в обществе в целом, хотя подобная корреляция далеко не всегда имеет место. Дело в том, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской помощи и другие факторы. Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране. Так, раз-

Разочаровавшись в идее снизить уровень насилия в стране одними лишь рестриктивными мерами, правительство Сальвадора инициировало диалог с *MS-13* и двумя «фракциями» *Barrio 18*. К началу 2012 г. при посредничестве католической церкви удалось добиться заключения перемирия между *MS-13* и *Barrio 18*.

Одной из уступок правительства стал перевод уже захваченных лидеров преступных сообществ из исправительных колоний строгого режима в обычные тюрьмы. В первые месяцы после подписания соглашения количество убийств снизилось на 45%. По мнению Х.М. Круса, этот факт свидетельствует о высоком уровне организации двух вышеозначенных преступных структур и способности их лидеров осуществлять эффективный контроль над различными кликами, входящими в единую криминальную сеть.

Но что не менее важно, заключение соглашения о перемирии подняло «марас» на новый уровень, обозначив факт их признания властями как значимого политического актора и возможного партнера в переговорном процессе [013, с. 6–7]. При этом несмотря на заметное снижение количества преднамеренных убийств в период действия перемирия, уровень вовлеченности «марас» в наркотрафик, рэкет и пр. даже возрос [013, с. 8].

К настоящему времени, заключает автор, «марас», обретя потенциал вмешательства во внутренние дела государства, оказывают серьезное влияние на политику стран ЦА, оставаясь при этом основным источником насилия и нестабильности в регионе [013, с. 8].

Весьма непривычный ракурс исследования эволюции *MS-13* избирает Джон Фитцпатрик (Университет Джорджа Мейсона,

---

ные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве. Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам. Вместе с тем данный показатель достаточно точно характеризует уровень физической безопасности в той или иной стране, а также в значительной мере отражает состояние социального климата и отношение к человеческой жизни в целом. Данные с показателями по уровню преднамеренных убийств публикуются в специальном отчете УНП ООН под названием «Глобальное исследование проблемы убийств: Тенденции, контексты, данные», который обновляется раз в два года. Исследование основано на статистических данных национальных служб и международных институтов, в том числе Интерпола, Евростата, Организации американских государств, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других. – *Прим. реф.*

г. Фэрфакс, США), предлагая проанализировать характер воздействия и степень влияния фактора глобализации на становление *Mara Salvatrucha* в своей статье «Глобализация – начало и конец *MS-13*?». Из всего многообразия существующих определений глобализации для целей данной работы автор выбирает предложенное американским социологом, профессором Самнером Твиссом – «происходящие в мире многомерные и интерактивные процессы экономической, политической и культурной трансформации, выражающиеся в увеличении социальной взаимозависимости и параллельном расширении спектра возможностей для социальной конфронтации между народами»[1] [014, с. 1].

В кратком изложении истории Сальвадора автор подчеркивает те эпизоды, где связь между фактором глобализации и изменением уровня насилия в регионе прослеживается особенно четко.

Начало XX в. было «золотой эрой» сальвадорской олигархии. Общемировой рост цен на кофе способствовал политической стабильности аграрного Сальвадора, где выращивание и экспорт указанной сельскохозяйственной культуры составляли ведущий сектор экономики. Власть находилась в руках нескольких крупных латифундистов, смена президентов происходила, как правило, мирно.

Конец идиллии наступил в начале 1930-х годов, когда произошел обвал цен на кофе на мировых рынках и начались волнения среди сальвадорских крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Однако несмотря на имевшие место попытки вооруженного сопротивления эксплуатации со стороны олигархов-землевладельцев, жесткость ответных действий со стороны силовых структур позволила правящей элите сохранить свое привилегированное положение.

Несмотря на все трудности, обусловленные экономической и политической нестабильностью, на протяжении достаточно длительного периода времени армии удавалось сдерживать рост насилия в Сальвадоре. Status quo нарушился в 1970-е годы. Подсчет голосов на президентских выборах 1972 г. сопровождался грубыми процедурными нарушениями, что в конечном итоге привело к очередному политическому кризису в стране. Через два дня после объявления о победе правящей Партии национального примирения

[1] Twiss S.B. History, human rights and globalization // J. of religious ethics. – Atlanta (GA), 2004. – Vol. 32, N 1. – P. 39–70.

(ПНП) избирательная комиссия, пересчитав голоса, неожиданно отдала первое место в президентской гонке представителю Христианско-демократической партии (ХДП) Хосе Наполеону Дуарте. Правительство наложило мораторий на освещение хода кампании в СМИ; вмешались военные, объявленные итоги выборов были аннулированы, пост главы государства занял кандидат от ПНД полковник Артуро Армандо Молина. Соответственно, не претерпела никаких значимых изменений экономическая политика властей. Она так и осталась сосредоточенной на защите интересов крупных землевладельцев и зарубежных монополистов, что закономерно обернулось креном общественных настроений «влево». Подтасовки на выборах 1972, 1974 и 1977 гг., как и жесткое подавление направленных против подобной практики протестов, привели к возрастанию конфликтогенного потенциала в обществе. С начала 1980-х годов началась усиленная интеграция «левых» радикалов: в вооруженной борьбе против реакционного режима их группы объединились во Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ). В то время как ФНОФМ поддерживался СССР, военную помощь правительству Сальвадора оказывали США: фактически на территории небольшой латиноамериканской страны разворачивалась еще одна *прокси война* двух сверхдержав, что способствовало сохранению высокого уровня насилия в регионе [014, с. 3].

В 1980 г., когда Сальвадор оказался на грани политического хаоса, началась эмиграция из страны. Многие «беженцы» искали защиты в США. Знаковыми эпизодами, способствующими объяснению масштабов эмиграции и оправданию столь интенсивной эмиграции из Сальвадора, в представлении автора, стали два события: убийство священника и правозащитника Оскара Ромеро[1] и изнасилование и последующая казнь солдатами национальной гвардии четырех женщин – церковных волонтеров[2]. Под впечатлением от

[1] 24 марта 1980 г., во время богослужения в часовне больницы «Божественного провидения», архиепископ Сан-Сальвадорский Оскар Ромеро был убит выстрелом в голову из винтовки М-16 А1. Убийство было совершено через день после проповеди, в которой он призвал правительственные силы прекратить репрессии. – *Прим. реф.*

[2] 2 декабря 1980 г. четыре американские миссионерки были задержаны солдатами национальной гвардии по пути из международного аэропорта Сальва-

новостей о подобных трагических событиях в США вокруг идеи помощи сальвадорским беженцам стали объединяться прихожане церквей. Таким образом, усилиями верующих различных христианских конфессий между США и Сальвадором установилось нечто вроде «подпольной железной дороги» аболиционистов XIX в.[1] Осознавшие свою политическую субъектность выходцы из латиноамериканских стран обрели поддержку либерально настроенных американцев, которые сплотились под эгидой так называемого *Sanctuary movement* – общественного движения, ориентированного на защиту прав вынужденных иммигрантов, в первую очередь за счет создания на территории США городов-убежищ и отказа от депортаций нелегалов. Следует подчеркнуть, что активнейшую роль в развитии этого движения сыграла католическая церковь. По оценкам отдельных экспертов, количество нелегальных иммигрантов, проникших в США в первое десятилетие деятельности *Sanctuary movement,* выражается в сотнях тысяч[2]. «В данном контексте, – отмечает автор, – фокусировка глобальных медиа на политической жизни Сальвадора дала толчок развитию социального

дора и подверглись жестокому групповому изнасилованию. На следующий день местные жители обнаружили в кювете недалеко от сожженного микроавтобуса миссии четыре изуродованных трупа. Обстоятельства гибели американок были документально воспроизведены в фильме Оливера Стоуна «Сальвадор» (1986). – *Прим. реф.*

[1] «Подпольная железная дорога» (*The Underground Railroad*) – обозначение тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север. Действовала вплоть до начала Гражданской войны в США в 1861 г. Различные маршруты, которыми пробирались группы беглецов, начинались от границ штатов Теннесси, Кентукки, Виргиния, Джорджия, Мэриленд и вели в северные штаты, а также в Канаду. «Подпольная железная дорога» имела свою организацию – на ней были свои «кондукторы» (старшие сопровождающие в группах), «станции» (жилье, предоставляемое сочувствующими для беглых в пути для отдыха и укрытия). Наибольшее участие в организации «Подпольной железной дороги» приняли активисты аболиционистского движения, свободные негры и мулаты, квакеры и баптисты. За период с 1830 по 1861 г. по этому пути удалось переправить на Север более 60 тыс. рабов. – *Прим. реф.*

[2] Johnson M.H. National policies and the rise of transnational gangs // Migration information source. – Wash., 2006. – Apr. 1. – Mode of access: http://www.migrationpolicy. org/article/national-policies-and-rise-transnational-gangs [Accessed 04.06.2017.]

движения, и впоследствии именно это движение повлияло на трансформацию глобальных иммиграционных трендов» [014, с. 3].

Бежавшие от бедности, преследований и эскадронов смерти сальвадорцы столкнулись с целым комплексом социально-экономических проблем в США. Отсутствие политического признания со стороны государственных властных структур, незнание языка «новой родины», трудности с легальным трудоустройством – все это в совокупности способствовало маргинализации сальвадорских беженцев и выбору ими стратегии сплочения группы через актуализацию негативной идентичности. Согласно выводам отчета Конгресса США (2010), многие члены банды *MS-13* в Южной Калифорнии указывали на «бедность, социальное исключение, недостаток возможностей по трудоустройству и получению образования» как основные причины присоединения к преступному сообществу. Таким образом, история *Mara Salvatrucha* уходит корнями в криминальные районы Лос-Анджелеса, что, по мнению Дж. Фитцпатрика, также является отражением процесса глобализации.

В 1980 г. в американских городах заметно возросла активность криминальных группировок, и *MS-13* не стала исключением. К 1992 г. уличное насилие вышло на новый уровень. Социальной дестабилизации способствовала обнародованная СМИ видеозапись, фиксирующая факт избиения несколькими полицейскими афроамериканца Родни Кинга. Превысивших свои должностные полномочия служителей закона немедленно отдали под суд, но вначале оправдали. Этот вердикт вызвал в Лос-Анджелесе волну беспорядков и погромов с участием представителей «цветных» меньшинств. Снизить напряженность удалось только с помощью морских пехотинцев[1]. Маргинальные иммигрантские группировки

[1] Морская пехота США (*United States Marine Corps*, *USMC*, *US marines*), являющаяся важным компонентом вооруженных сил страны, содержится в постоянной боевой готовности и используется американским военно-политическим руководством в качестве ударного отряда. Она находится в подчинении военно-морского министерства США. По существующим в США законам, из всех родов войск только морская пехота может быть использована президентом для выполнения любого задания без санкции Конгресса. Характерным примером подобного использования как раз и стало оперативное введение морских пехотинцев в Лос-Анджелес в 1992 г. с целью подавления массовых беспорядков в городе. – *Прим. реф.*

ярко проявили себя в этом формально направленном против полицейского произвола и расовой дискриминации движении: власти штата Калифорния отреагировали ужесточением мер наказания, применяемых к бандам. Началась череда депортаций сальвадорских нелегалов из США. Причем ситуацию в Сальвадоре усугубило то, что вынужденные вернуться молодые люди в большинстве своем не владели языком территории этногенеза. Таким образом, на исторической родине они столкнулись с теми же самыми проблемами, что в свое время привели к маргинализации их родителей в США. Однако, подчеркивает Дж. Фитцпатрик, «поколение детей» отличалось презрением к закону и высоким уровнем сплоченности, обусловленным близостью опыта, пережитого на американских улицах. В нестабильном сальвадорском обществе эти навыки только укрепились, как укрепилась и внутренняя взаимная моральная солидарность членов *MS-13*. Факт депортации из США оказался для «бойцов» *Mara Salvatrucha* благодеянием: при первоначальном попустительстве силовых структур, недооценивших разрушительный потенциал иммигрантской банды, она получила доступ к новым рынкам потребления наркотических веществ. Пользуясь оставшимися связями в США, «возвращенцы» вывели деятельность местных *региональных* преступных сообществ, занятых в торговле наркотиками и оружием, на *глобальный* уровень. Фактически, утверждает автор, глобализация вывела *MS-13* и подобные им группировки на ту позицию, с которой они могут угрожать слабым национальным государствам.

Запоздалая и диспропорциональная реакция властей, выразившаяся в ужесточении уголовного законодательства в части, касающейся уличной преступности (так называемой политике «железного кулака»), привела к крайне негативным последствиям. Тюрьмы оказались переполнены и превратились в так называемые «гангстерские университеты», где осуществлялась вербовка новых членов и закладывались основы будущей сетевой организации преступного сообщества. Если в прошлом глобальные миграционные тренды указали сальвадорцам путь бегства от насилия, то сегодня глобальная миграция обеспечила *Salvatruchas* условия для применения насилия по отношению к другим, утверждает Дж. Фитцпатрик [014, с. 4]. По его мнению, этот пример «иллюстрирует шизоф-

реническую природу глобализации»: на каждый позитивный аспект данного процесса находится альтернативный противовес [014, с. 4].

Со временем «портфолио» криминальной активности *Mara Salvatrucha* заметно расширилось за счет включения в него, помимо наркоторговли, торговли оружием и людьми. Также возросли технологическая оснащенность группировки и компьютерная грамотность ее членов. Постепенно изменилось отношение к татуировкам по всему телу, долгое время бывшим отличительной чертой и поводом для гордости членов банды. Привлекающие внимание полиции тату стали восприниматься как атавизм периода борьбы этнических группировок за контроль над улицами американских городов. Цитируя Джона Салливана, автор заявляет, что *MS-13* превратилась в «рыночно ориентированную наркогруппировку» второго поколения[1] [014, с. 5].

Как только бандитские группировки выходят на этот уровень, они зачастую начинают действовать как некие бизнес-сообщества, а не объединения девиантных личностей. Следующим шагом на пути эволюции становится отмывание доходов от преступной деятельности через рынок ценных бумаг. Внедрение на легальный рынок позволяет группировкам увеличить свой символический капитал и потенциал воздействия на национальные властные структуры. Приводя высказывание Макса Менворинга, автор заявляет, что есть все шансы, что *Salvatrucha* могут вскоре «завладеть политической силой, с тем чтобы гарантировать себе свободу действий и желаемую коммерческую атмосферу»[2] [014, с. 5].

В заключение Дж. Фитцпатрик подчеркивает, что с каждым днем *Mara Salvatrucha* и другие подобные организации обретают все большую силу и политическую субъектность. Сложность противодействия *MS-13* объясняется тремя следующими факторами: транснациональным характером данной криминальной группировки; ее ярко выраженной способностью к трансформации и саморазвитию; эффективностью ее взаимодействия с аудиторией маргинализированной молодежи. Международному сообществу определенно необходим некий механизм координации взаимных усилий всех

[1] Sullivan J.P. Third generation street gangs: Turf, cartels and net warriors // Crime a. justice international. – Chicago (IL), 1997. – Vol. 13, N 10. – P. 9–33.

[2] Manwaring M.G. Street gangs: The new urban insurgency. – Carlisle (PA): Strategic studies institute, 2005.

государств, заинтересованных в противодействии группировкам типа *MS-13*. В данном контексте закономерно возникает вопрос о том, на платформе какой организации может осуществляться реализация подобной инициативы. В качестве наиболее подходящей площадки автор предлагает Организацию американских государств (ОАГ). В этом случае, отмечает он, логичным представляется создание под ее эгидой специальной комиссии по противодействию латиноамериканским «марас», объединяющей представителей всех стран – членов ОАГ. В пользу выбора ОАГ говорит многолетний опыт ее успешного участия в проектах регионального развития, что должно способствовать устранению коренных причин маргинализации молодежи ЛА. Также можно использовать установившиеся в рамках ОАГ дипломатические контакты с целью устранения рассогласования положений уголовного законодательства стран-участниц и выработки консолидированного подхода к борьбе с «марас». У национальных государств ЛА еще осталось время на выработку согласованного плана действий, но «окно возможностей» постепенно сужается, предупреждает автор статьи.

А.М. Понамарева

2017.03.015. ЛИ Ч. НЕФТЬ И ТЕРРОРИЗМ: ВСКРЫВАЯ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ.
LEE Ch. Oil and terrorism: Uncovering the mechanisms // J. of conflict resolution. – Thousand Oaks (CA), 2016. – Oct. 20. – P. 1–26.

Ключевые слова: политическое насилие; терроризм; нефть; «ресурсное проклятие».

В своей статье эксперт Наньянского технологического университета (Сингапур) Чиайи Ли задается вопросом о характере взаимосвязи между терроризмом как специфической формой политического насилия, нацеленной преимущественно на запугивание, а не на уничтожение людей, и нефтяным бизнесом. Используя в качестве эмпирической основы такие электронные базы данных по количеству терактов, как «*International terrorism: Attributes of terrorist events*» (*ITERATE*) [1] и «*Global terrorism*

[1] «Международный терроризм: Признаки террористических актов» – проект по сбору количественных данных, характеризующих деятельность международных террористических групп. Доступ к базе данных осуществляется через

database» (*GTD*)[1], а также отчеты Управления энергетической информации США по мировым запасам нефти, автор подвергает проверке распространенную гипотезу о наличии прямой корреляции между нефтью и терроризмом.

Ссылаясь на специалистов, работающих в рамках концепции «ресурсного проклятия», Ч. Ли обращает внимание на возможные негативные последствия нефтяного изобилия, в числе которых обычно указывают: сворачивание развития демократических институтов и усиление авторитарных тенденций (Майкл Росс, Натан Дженсен и Леонард Уонтчекон, Кевин Моррисон, Силье Аслаксен, Кристофер Рамзи[2]); замедление экономического роста (Джеффри Сакс и Эндрю Уорнер, Майкл Росс[3]); возрастание количества гражданских конфликтов (Пол Колье и Анке Хофлер, Майкл Росс, Джеймс Фирон[4]).

библиотеки зарубежных университетов. См., например: International terrorism: Attributes of terrorist events (ITERATE), 1968–2015 / MIT libraries dataverse. – Mode of access: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/21952 [Accessed 04.06.2017.]. – *Прим. реф.*

[1] «База данных по терроризму в мире» – открытый пополняющийся источник систематизированной информации о терактах по всему миру, совершенных с 1970 по 2015 г. См.: Global terrorism database. – Mode of access: https://www.start.umd.edu/gtd/ [Accessed 04.06.2017.]. – *Прим реф.*

[2] Ross M.L. Does oil hinder democracy? // World politics. – Guilford (CT), 2001. – Vol. 53, N 3. – P. 325–361; Jensen N.M., Wantchekon L. Resource wealth and political regimes in Africa // Comparative political studies. – Beverly Hills (CA), 2004. – Vol. 37, N 7. – P. 816–841; Ramsay K.W. Revisiting the resource curse: Natural disasters, the price of oil and democracy // International organization. – Boston (MA), 2011. – Vol. 65, N 3. – P. 507–529; Morrison K.M. Oil, nontax revenue and the redistributional foundations of regime stability // International organization. – Boston (MA), 2009. – Vol. 63, N 1. – P. 107–138; Aslaksen S. Oil and democracy: More than a cross-country correlation // J. of peace research. – L., 2010. – Vol. 47, N 4. – P. 421–431; Ramsay K.W. Revisiting the resource curse: Natural disasters, the price of oil and democracy // International organization. – Boston (MA), 2011. – Vol. 65, N 3. – P. 507–529.

[3] Sachs J.D., Warner A.M. Natural resource abundance and economic growth. – Cambridge (MA): National bureau of economic research, 1995; Ross M. The political economy of the resource curse // World politics. – Guilford (CT), 1999. – Vol. 51, N 2. – P. 297–322; Fearon J.D. Primary commodity exports and civil war // J. of conflict resolution. – Thousand Oaks (CA), 2005. – Vol. 49, N 4. – P. 483–507.

[4] Collier P., Hoeffler A. On economic causes of civil war // Oxford economic papers. – Oxford, 1998. – Vol. 50, N 4. – P. 563–573; Ross M.L. What do we know about natural resources and civil war? // J. of peace research. – L., 2004. – Vol. 41, N 3. –

Автор выделяет три механизма обеспечения каузальной связи между нефтью и терроризмом. А именно: 1) «финансирование» – поддержание активности террористических группировок за счет средств, вырученных от продажи нефти; 2) «таргетирование» – выбор нефтяной инфраструктуры государства или же страны – экспортера нефти в качестве цели удара в силу их значимости в экономическом и стратегическом планах; 3) «мотивирование» – побуждение к террористической деятельности недовольных несправедливым распределением ресурсов. В предложенной сингапурской исследовательницей «триаде» отражаются три ключевых параметра анализа феномена терроризма: источники финансирования и стратегии террористических групп, а также предпосылки зарождения последних. Соответственно, все вышеназванные механизмы могут актуализироваться как одновременно, так и по отдельности [с. 2–4].

Рассмотрев наиболее типичные сценарии терактов [с. 6–8], автор статьи формулирует пять исследовательских гипотез, которые в дальнейшем подвергает проверке методами последовательного статистического анализа. Они сводятся к следующим тезисам:

1) чем большими запасами нефти обладает страна, тем выше вероятность того, что она пострадает от террористических атак;

2) чем больший доход извлекает страна от продажи нефти, тем выше вероятность того, что она окажется вовлеченной в спонсирование деятельности отдельных террористических группировок;

3) чем большими запасами нефти обладает страна, тем выше вероятность того, что она пострадает от террористических атак, направленных на ее нефтяную инфраструктуру;

4) чем большими запасами нефти обладает страна и чем «ближе» ее официальное руководство к Вашингтону, тем выше вероятность того, что она подвергнется нападению террористов;

5) чем большими запасами нефти обладает страна, тем выше вероятность того, что она столкнется с проблемой внутреннего терроризма [с. 8–9].

В процедуре проверки вышеизложенных гипотез в качестве выходной (зависимой) переменной (outcome variable) использовалось «количество террористических актов в стране за определен-

P. 337–356; Fearon J.D. Primary commodity exports and civil war // J. of conflict resolution. – Thousand Oaks (CA), 2005. – Vol. 9, N 4. – P. 483–507.

ный год», а в качестве объясняющих (независимых) переменных (explanatory variables) – «доход государства от продажи нефти за год» и «объемы нефтяных запасов страны».

С целью оценки эвристичности трех ранее выделенных механизмов обеспечения причинно-следственной связи между нефтью и терроризмом был введен ряд дополнительных параметров сравнения, включенных в исследование государств.

•«Вовлеченность в спонсирование терроризма» (terrorism sponsor variable). Переменная введена для анализа механизма «финансирования» путем выделения из генеральной совокупности тех стран, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. В «черный список» в разное время входили (а в отдельных случаях все еще входят) следующие страны: Ирак (1979–1982; 1990–2004), Иран (с 1984), КНДР (1988–2008), Куба (1982–2015), Ливия (1979–2006), Народная Демократическая Республика Йемен (1979–1990), Сирия (с 1979), Судан (с 1993). Ч. Ли обращает особое внимание на то, что все вышеперечисленные государства, кроме КНДР, относятся к нефтедобывающим.

•«Соотношение терактов, связанных с нефтяной инфраструктурой, и общего числа террористических атак» (oil-related / all terrorism variable). Опираясь на данные «*Global terrorism database*» об объектах, ставших целями террористов, автор рассматривает действие механизма «таргетирования».

•«Внутренний терроризм» (domestic terrorism variable). Переменная, отражающая количество терактов, совершенных экстремистами в пределах одного государства за год, введена для оценки специфики проявления механизма «мотивации».

В силу многоаспектности рассматриваемой проблематики в статистическую модель исследования был включен ряд поддерживающих контрольных переменных:

– экономический блок – «ВВП на душу населения» (GDP), «экономический рост» (economic growth), «открытость торговли» (trade openness);

– политический блок – «время, прошедшее с момента последней смены политического режима в стране» (durability); «уровень демократии в стране» (democracy);

– блок, отражающий связь терроризма с другими типами политического насилия – «число внутренних конфликтов за год» (internal conflicts variable); «период военной интервенции в страну» (military intervention variable).

Для проверки гипотезы о варьировании характера воздействия нефти на терроризм в зависимости от влияния регионального или религиозного фактора использовалась дополнительная контрольная переменная «отношение к региону Ближнего Востока и процент мусульман в общем числе граждан страны» (Middle East and Muslim population). Указанный параметр был включен в рассмотрение для того, чтобы выяснить, зависит ли выбор объекта теракта от принадлежности страны к определенному региону или же от количества населения, исповедующего ислам [с. 10–13].

В ходе проведенного исследования статистическое подтверждение получила первая из выдвинутых автором гипотез: чем большими запасами нефти обладает страна, тем выше вероятность того, что она подвергнется террористическому нападению. Возрастание соотношения объемов запасов нефти и площади государства на 1% ведет 17-кратному увеличению количества террористических атак. Также подтвердилась вторая гипотеза о наличии прямой зависимости между увеличением доходов государства от продажи нефти и его вовлеченностью в спонсирование терроризма.

Факторами, снижающими уровень терроризма в стране, были признаны: экономический рост, открытость рынка, преемственность национальных политических режимов. К возрастанию террористической угрозы приводят гражданские конфликты и международные интервенции. Было установлено, что более высокий показатель террористической активности отличает те страны, подавляющее большинство населения которых исповедует ислам.

Анализируя характер действия трех выделенных ею механизмов взаимосвязи нефти и терроризма, автор пришла к заключению, что вероятность финансирования терроризма со стороны «преимущественно мусульманских» нефтедобывающих стран выше, чем со стороны стран – импортеров нефти. Она утверждает, что демократические государства, где политический режим относительно стабилен, а торговля открыта, вряд ли окажутся в списке «спонсоров» терактов.

При определении специфики «таргетирования» выяснилось, что в странах с развитой нефтяной инфраструктурой число терактов на объектах нефтяной отрасли превышает количество атак на цели, не имеющие отношения к нефти.

В отношении особенностей проявления механизма «мотивации» было установлено, что в нефтедобывающих странах количество актов внутреннего терроризма гораздо больше, чем в странах, не обладающих значимыми запасами нефти. Однократное увеличение доходов государства от продажи нефти ведет к почти десятикратному увеличению актов внутреннего терроризма. Нефть, а точнее неравномерное распределение прибыли от ее продажи, способствует ужесточению соперничества между конкурирующими социально-политическими группами, и некоторые из них оказываются готовыми к асимметричному ответу на действия властей. Свою отдаленность от центров принятия государственных решений они компенсируют применением террористических методов борьбы [с. 13–17].

Параллельно рассмотрению механизмов воздействия нефти на терроризм автор статьи проанализировала частоту проявления этих механизмов в деятельности террористических группировок.

Выделив 26 террористических организаций, операции которых были непосредственно связаны с нефтяной отраслью, Ч. Ли пришла к выводу, что в большинстве случаев связь между терроризмом и нефтью обеспечивалась действием механизма «таргетирования».

На втором месте стоит механизм «мотивации», проявляющийся в развитии экстремистских сепаратистских движений в регионах, неудовлетворенных осуществляемым центром неравномерным распределением прибыли от продажи имеющихся на их территории ресурсов. Так, например, в иранской провинции Хузестан, где сосредоточены большие запасы нефти и проживает много арабов, подпольно действует национальное движение, выступающее против Тегерана и иранского доминирования, – Организация освобождения аль-Ахваза.

Только три из рассматривавшихся 26 террористических группировок оказались связаны с нефтяной отраслью через механизм финансирования, а именно: Фронт за освобождение анклава Кабинда (ФЛЕК), Обновленный фронт за освобождение анклава

Кабинда, колумбийская Армия национального освобождения. В числе источников дохода этих трех группировок фигурировало получение выкупа за похищенных сотрудников иностранных нефтяных компаний (см. табл.) [с. 17–19].

Таблица

Террористическая группировка	Финансирование	Мотивирование	Таргетирование
1	2	3	4
Арабский народный демократический фронт в Аль-Ахвазе		✓	
Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза		✓	
Мученики Хузестана		✓	
Тигры освобождения Бодоланда			✓
Обновленный фронт за освобождение анклава Кабинда (ФЛЕК)	✓	✓	✓
Фронт за освобождение анклава Кабинда (ФЛЕК)	✓	✓	✓
Народные силы обороны			✓
Молодежный совет иджо		✓	✓
Армия освобождения в Ираке (Джейшат-Тахрир аль-Ираки)			✓
Бригады исламской гордости на земле Нила			✓
Воины Великой Сирии (Джундаш-Шам)			✓
Бригады Хайбара			✓
Лашкар-е-Джангви			✓
Движение за освобождение дельты Нигера		✓	✓
Армия национального освобождения в Колумбии	✓	✓	✓
Революционный народный фронт (Филиппины)			✓
Повстанческие вооруженные силы			✓
Движение за независимость Южного Судана		✓	

1	2	3	4
Народная армия освобождения Судана		✓	✓
Национальный антикоррупционный фронт		✓	✓
Партизанская армия имени Тупака Катари			✓
Революционное движение Тупамаро			✓
Партия Уммы			✓
Объединенная арабская революция		✓	✓
Объединенный революционный фронт		✓	
Исламский джихад			✓

Резюмируя, автор отмечает противоречивую роль нефти в обеспечении социально-политического и экономического развития страны. Страны – экспортеры нефти рискуют оказаться в числе «спонсоров» терроризма, поскольку объекты нефтяной инфраструктуры являются идеальной целью для террористических группировок, стремящихся добиться максимально возможного резонанса от своих акций, а также подорвать позиции значимых зарубежных игроков в регионе. Помимо этого, нефтедобывающие страны отличают высокие риски развития внутреннего терроризма из-за неравномерного распределения доходов от продажи нефти среди населения. Группы, оказавшиеся в менее выгодном положении, способны прибегнуть к террористической деятельности в целях установления более справедливого баланса интересов. В нефтедобывающих государствах уровень угрозы нападения террористов на нефтяные объекты выше, что особенно актуально для стран – политических союзников США.

Подводя итог, Ч. Ли подчеркивает, что наравне с отслеживанием и пресечением каналов финансирования террористов необходимо также обеспечить должную защиту ключевых объектов энергетической инфраструктуры и создать условия для снижения уровня конфликтности в нефтеносных регионах мира. Такие меры помогут существенно уменьшить угрозу терроризма в долгосрочной перспективе [с. 20].

Я.Р. Кабирова

ЭКОСОЦИОЛОГИЯ

2017.03.016–017. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ АНТРОПОЦЕНА. (Сводный реферат).
2017.03.016. DELANTY G., MOTA A. Governing the Anthropocene: Agency, governance, knowledge // European j. of social theory. – L., 2017. – Vol. 20, N 1. – P. 9–38.
2017.03.017. CHAKRABARTY D. The future of the human sciences in the age of humans: A note // European j. of social theory. – L., 2017. – Vol. 20, N 1. – P. 39–43.

Ключевые слова: антропоцен; социальные и гуманитарные науки; геохронология; глобальные экологические кризисы; изменение климата.

В статьях, опубликованных в специальном выпуске журнала «European journal of social theory», обсуждается готовность социальных и гуманитарных наук к осмыслению новой геологической эпохи, которая в научной литературе получила название «антропоцен». Этим геохронологическим термином стали обозначать период, когда активность человека превратилась в один из ключевых факторов изменения экосистемы Земли. Джерард Деланти (Сассекский университет, г. Фолмер, Великобритания) и Ауреа Мота (Барселонский университет, Испания) считают, что пришло время более глубокого понимания антропоцена − и как эпохи, и как культурной модели. Хотя антропоцен не признан новой парадигмой, авторы статьи полагают, что это понятие служит трансдисциплинарной интерпретирующей концептуальной рамкой, применение которой в науке может иметь для нее серьезные онтологические и эпистемологические последствия [016, с. 10]. Характеризуя антропоцен как культурную модель, авторы фокусируют внимание на четырех его аспектах: 1) вопрос о временны́х рамках; 2) природа субъектности и

агентности (agency); 3) новое понимание управления; 4) проблема знания.

Временны́е рамки. Антропоцен изначально возник как темпоральная дефиниция, однако после его проникновения в язык социальных и гуманитарных наук термин приобрел более широкий спектр значений. Понятие вошло в научное употребление в 2000-е годы, когда прозвучало заявление о том, что геологическая эпоха голоцена сменилась эпохой антропоцена[1]. Голоцен начался около 12 тыс. лет назад, сменив эпоху плейстоцена, после того как глобальное потепление положило конец ледниковому периоду. Именно в эпоху голоцена зародилась человеческая цивилизация, возникло сельское хозяйство, основывались и росли города. Рост масштабов человеческой деятельности на планете поставил вопрос о переосмыслении временны́х пределов голоцена. Так возникло понятие «антропоцен», которое указывает на то, что человечество превратилось в самостоятельную геологическую силу, способную производить кардинальные изменения на Земле, вплоть до создания геофизических условий, которые могут отсрочить или даже предотвратить наступление очередного ледникового периода.

Голоцен по меркам существования Земли (которая, как считается, возникла 4,5 млрд лет тому назад) представляет собой относительно короткий планетарный отрезок времени. Но именно этот наиболее стабильный межледниковый период позволил человечеству длительное время не сталкиваться с глобальными катаклизмами. В связи с этим существует точка зрения, согласно которой антропоцен нельзя считать новой геологической эпохой, поскольку люди трансформируют экосистему Земли в течение как минимум 10 тыс. лет. Этот тезис сформулировал У. Раддимен с коллегами, ссылаясь на тот факт, что землепользование и вырубка лесов, начавшиеся 6–8 тыс. лет назад, стали причиной изменения содержания CO_2 и метана в атмосфере[2].

Вопрос о реперiодизации геологических эпох остается дискуссионным. Ученые обсуждают вопрос о том, следует ли в качестве основного инструмента для демаркации эпох использовать

[1] См.: Crutzen P.J. Geology of mankind: The Anthropocene // Nature. – L., 2002. – Vol. 415, N 6867. – P. 23.

[2] Defining the epoch we live in / Ruddiman W.F., Ellis E.C., Kaplan J.O., Fuller D.Q. // Science. – Wash., 2015. – Vol. 348, N 6230. – P. 38–39.

геохронологическую (стратиграфическую) шкалу или здесь возможны иные критерии оценки. Спор, в частности, касается установления исторической точки, фиксирующей тот факт, что жизнедеятельность человека оставила на Земле неизгладимый след, вследствие чего наша планета стала меняться. Формально вопрос об официальном признании новой эпохи предстоит решать Международной комиссии по стратиграфии. Но геологи традиционно работают с геофизическими отпечатками, определяя геологический период по окаменелостям, поэтому позиция, связанная с оценкой роли земледелия (У. Раддимен), для них неприемлема.

Вполне вероятно, что со временем произойдет обновление этого традиционного для геологии подхода, и принцип стратиграфии утратит свою доминирующую позицию в геохронологии. По мнению авторов статьи, это может быть связано с признанием так называемой гипотезы Геи, в рамках которой Земля понимается как система, состоящая из горной породы, океанов, атмосферы, геомагнитного поля и жизни как таковой. Таким образом, изменения, связанные с антропогенным фактором, нужно будет искать не только в окаменелостях, но и в океанах и атмосфере. Так, например, в 2016 г. ученые обнаружили, что таяние ледникового щита Гренландии привело к изменениям колебательных движений полюсов мира. В контексте гипотезы Геи жизнь можно рассматривать как систему физических, химических, биологических (в том числе антропогенных) процессов, которые взаимодействуют через позитивную и отрицательную обратную связь [016, с. 13].

Дж. Деланти и А. Мота рассматривают три точки зрения на периодизацию антропоцена как эпохи, которая возникла в рамках модерна. Согласно первой позиции, представленной П. Крутценом и Ю. Стормером[1], новая эпоха началась вместе с промышленной революцией. Символической точкой отсчета в этом случае явилось изобретение парового двигателя Дж. Уаттом в 1784 г. Ключевыми факторами промышленной революции, которые повлияли на изменения в системе Земли, стали рост численности населения, увеличение масштабов сельского хозяйства и индустриализации. В рамках этих процессов в больших объемах происходило потребление

[1] Crutzen P.J., Stoermer E.F. The «Anthropocene» // International geosphere-biosphere programme newsletter. – Stockholm, 2000. – Vol. 41. – P. 17–18.

ископаемого топлива, из-за чего из глубинных пластов Земли было извлечено огромное количество угля.

Другая позиция представлена М. Маслином и С. Льюисом[1]. Эти исследователи считают, что начало антропоцена датировано 1610 г., когда уровень CO_2 в атмосфере достиг минимума, ознаменовав окончательное завершение продолжительного холодного периода. Маслин и Льюис связывают это с тем, что в ходе завоевания и колонизации Нового света произошло резкое сокращение численности населения в Центральной и Южной Америке, что, в свою очередь, способствовало восстановлению лесного массива.

Третья точка зрения на возникновение антропоцена была предложена влиятельной группой геологов[2]. В качестве точки отсчета они предложили дату 16 июля 1945 г., когда на планете были проведены первые испытания атомной бомбы.

Многие исследователи согласны в том, чтобы признать началом антропоцена середину XX в., поскольку этот период соответствует историческим и геологическим критериям масштабности человеческой деятельности на глобальном уровне. В это время произошло заметное увеличение содержания в воздухе трех парниковых газов (углекислого газа, метана и закиси азота), и тогда же возникла глобально взаимосвязанная социетальная система, основанная на индустриализации и стремительном демографическом росте.

Дж. Деланти и А. Мота отмечают, что возникновение понятия «антропоцен» не умаляет значения понятия «модерн», но теперь необходимо принимать во внимание новую контекстуализацию модерна и историческое время, чтобы осознать, что мы находимся в геологической единице времени, доминантой которой

---

[1] Maslin M., Lewis S. Anthropocene: Earth system, geological, philosophical and political paradigm shifts // The Anthropocene rev. – L., 2015. – Vol. 2, N 2. – P. 108–116.

[2] When did the Anthropocene begin? A mid-twentieth century boundary level is stratigraphically optimal / Zalasiewicz J., Williams M., Waters C.N., Ellis M.A., Barnosky A.D., Cearreta A., Crutzen P., Ellis E., Fairchild I.J., Grinevald J., Haff P.K., Hajdas I., Leinfelder R., McNeill J., Odada E.O., Poirier C., Richter D., Steffen W., Summerhayes C., Syvitski J.P.M., Vidas D., Wagreich M., Wing S.L., Wolfe A.P., An Z., Oreskes N. // Quaternary international. – Oxford, 2015. – Vol. 383, N 1. – P. 196–203.

является человек [016, с. 17]. Опыт западного модерна получил глобальное распространение, и весь мир стал ориентироваться на социальные и технологические процессы, которые зародились в Европе в XIX в. В связи с нарастающими глобальными проблемами все бóльшую остроту приобретает вопрос о том, смогут ли культурные и политические течения модерна бросить вызов силам саморазрушения, которые высвободились в эпоху антропоцена. Задача управления антропоценом состоит в том, чтобы создать позитивный политический проект, с помощью которого можно было бы преодолеть ограничение, фундаментом которого служит разделение истории человечества и естественной истории. Именно поэтому актуальной является проблема установления временны́х рамок антропоцена. Модерн начинается с признания автономии человека и его разрыва с естественной историей; антропоцен вследствие возникающих глобальных проблем вновь выносит на повестку дня вопрос о коэволюции природных и социально-исторических процессов.

Природа субъектности и агентности. В рамках дискуссии об антропоцене активно обсуждаются природа агентности, последствия действий человека для истории и конструкция человеческой субъектности как таковая [016, с. 18]. Авторы статьи указывают на важные моменты в понимании идеи автономности индивида на Западе. В критической традиции (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас и др.) господство природы сочеталось с господством капиталистического общества. Таким образом, в рамках этой философской школы, рассматривающей возможность эмансипации только человечества, но не природы, стремление человека к автономности не подвергается сомнению. По мнению Деланти и Моты, в основе западной либеральной мысли лежит миф о том, что человеческое общество возникло в результате выхода из природного состояния [там же]. Антропоцен ориентирован на переосмысление такой позиции. Природа здесь не является объективной и инертной сущностью, но оказывает влияние на человеческую жизнь. Человеческая деятельность существует в рамках природы; таким образом, человеческая субъектность формируется в процессе коэволюции с природой. Антропоцен как культурная модель предлагает отказаться от деструктивного разделения природы и общества, поскольку люди встроены не только в общественные, но и в природные процес-

сы. Использованию такой модели, считают авторы, может способствовать «глубокая история» («deep history»), которая, в отличие от традиционной истории, имеет более широкие временны́е рамки. Согласно принципам «глубокой истории», документы – это не единственная форма исторических свидетельств, а потому не следует отказываться от изучения дописьменных обществ. Сторонники такого понимания истории, критикуя европоцентристский подход, возводят начало человеческой истории к Восточной Африке, где появился Homo sapiens. Такой взгляд на историю позволяет рассматривать человека как субъекта, действующего в планетарных масштабах.

Новое понимание управления. Как отмечают Дж. Деланти и А. Мота, одно из далеко идущих последствий идеи антропоцена заключается в том, что она заставляет по-новому взглянуть на политические вопросы. Антропоцен является не просто объективным условием планетарных изменений, но интрепретирующей категорией, с помощью которой современные общества способны к саморефлексии и переосмыслению своего существования, его пространственных и временны́х характеристик. Таким образом, антропоцен как культурная модель не является политически нейтральной концепцией и содержит в себе сильные нормативные элементы [016, с. 24]. В политической сфере эта концепция, отвечая на кризис неолиберализма, может повлиять на возникновение новых идеологий и социальных движений.

В рамках управления антропоценом перед нынешними политическими системами стоит задача обновления, поскольку они могут стать препятствием на пути решения планетарных проблем. С одной стороны, технологические решения должны быть вписаны в процессы демократического обсуждения. С другой стороны, велика вероятность возникновения новых политических субъектов, которые бросят вызов неолиберальным проектам. Действующая в настоящее время система национальных государств затрудняет возможность эффективного решения глобальных проблем. Соответственно, требуется пересмотр прежних политических концепций и идеологий. Например, главные политические течения модерна: социализм, либерализм и республиканизм – основаны на философии автономии и свободы человека, поэтому они не смогут справиться с современными экологическими кризисами, считают Дж. Деланти и А. Мота.

По их мнению, перспективным направлением социальной и политической мысли в эпоху антропоцена является политическая концепция космополитизма [016, с. 26]. Космополитизм не является новой идеей, но именно он оспаривает различные формы ограничения общечеловеческой солидарности, выступая, таким образом, в качестве адекватной альтернативы традиционным формам государственного управления.

Проблема знания. Идея антропоцена, указывают Деланти и Мота, предлагает новый способ интерпретации не только системы Земли, но и человеческого мира. Эта идея позволяет понять, как населенный людьми мир вписывается в физические и биохимические процессы и помещается в иную шкалу времени и истории [016, с. 29]. Современные социальные и гуманитарные науки понимают этот мир как человеческое творение и как доминирующую силу на планете, хотя в реальности может оказаться, что люди лишь ненадолго заселили Землю и могут скоро исчезнуть по независящим от них причинам космического или планетарного масштаба.

Антропоцен ставит перед социальными и гуманитарными науками как эпистемологические, так и онтологические вопросы. Эпистемологически он по-другому рассматривает одно из фундаментальных допущений социальных наук о дуализме общества и природы. Этот принцип привел к расхождению естественных и социальных наук, что стало препятствием для становления новой науки о земной системе. Чтобы ответить на вызовы антропоцена, наукам о человеке и обществе потребуется перестать игнорировать природу как нечто малозначительное и вступить в более активный диалог с естественными науками.

Что касается онтологической трансформации, продолжают авторы, то интерпретирующие социальные науки используют социальную онтологию, основанную на социологической традиции социального конструирования реальности. В этой традиции реальность полностью социальна и является продуктом рутинизированного социального взаимодействия [016, с. 29–30]. Антропоцен бросает вызов такой онтологии, предлагая новый взгляд на роль людей в мире, способных кардинально менять физическую природу.

В заключение Дж. Деланти и А. Мота формулируют шесть основных эффектов, которые возникли в ходе дискуссий об антро-

поцене и имеют прямое отношение к социальным и гуманитарным наукам. Во-первых, антропоцен претендует на роль новой парадигмы в науках о Земле, что имеет значимые последствия для наук о человеке и обществе. Во-вторых, активно стала развиваться область «глубокой истории» и «большой истории», импульсом чему послужила глобальная история. В-третьих, произошло переосмысление соотношения климатических изменений и общества в историческом контексте. В-четвертых, появились новые теоретические идеи в социологии и философии (наиболее ярким примером может служить постгуманистическая перспектива, которая складывается вокруг идей Б. Латура о модерне и дуализме «природа–культура»). Пятым последствием стала готовность рассматривать антропоцен как культурную модель для критического мышления и социально-политических преобразований; преобладающими трендами здесь являются использование понятия геосубъекта и ренатурализации социального. Наконец, существует критический отклик тех исследователей, которые считают, что за новым понятием антропоцена скрываются уже известные феномены. Так, для неомарксистов, которые «переименовали» антропоцен в «капиталоцен», геофизические изменения, запущенные человеком, объясняются с помощью знакомого понятия «капитализм».

Профессор Чикагского университета (США) Дипеш Чакрабарти в статье, посвященной будущему социальных и гуманитарных наук, отмечает, что исследователи медленно реагируют на кризис климатических изменений. Во многом это связано с тем, что сами климатологи долгое время не могли убедить политиков в серьезности проблемы. Когда их голоса были услышаны, в качестве приоритетных задач, стоящих перед политиками и технологами, были названы содействие всемирному переходу на возобновляемые источники энергии и принятие мер по смягчению последствий изменения климата [017, с. 39]. Тогда же стало понятно, что для решения этой задачи потребуется привлечь не только представителей естественнонаучных дисциплин и технологов, но и исследователей в области социальных и гуманитарных наук.

В ходе обсуждений возникли два главных вопроса, связанных с проблемой справедливости. Один из них касался так называемой «климатической справедливости» по отношению к развитым и развивающимся странам. Некоторые активисты, в основном

из развивающихся стран, готовы считать выбросы углекислого газа неизбежным злом, если это помогает решать проблему нищеты в их странах. Второй вопрос касался справедливости по отношению к будущим поколениям, которым придется иметь дело с тем, что достанется им в наследство от людей, живущих сейчас.

В качестве двух полярных точек зрения на проблему климатического кризиса Д. Чакрабарти предлагает обратиться к позиции неомарксистов и к идеям, содержащимся в энциклике Папы Римского. Марксисты традиционно усматривают истоки климатического кризиса в капитализме. Они не признают соучастия всех людей в чрезмерном выбросе парниковых газов и предпочитают акцентировать внимание на классовой, расовой и гендерной дифференциации процессов и институтов. Адепты марксизма подвергают жесткой критике понятие «антропоцен» и полагают, что без борьбы с капитализмом нельзя решить проблему изменения климата.

Другая позиция, дающая оценку климатическому кризису, может быть проиллюстрирована на примере недавней энциклики Папы Франциска. В ней он формулирует христианскую критику потребительского капитализма в контексте обсуждения изменения климата и его влияния на существующее в мире неравенство [017, с. 41]. Папа Франциск отмечает, что описанное в Библии «господство человека над природой» было неправильно истолковано. Люди восприняли независимость как господство, хотя Богом было предназначено заботиться о природе так же, как садовник заботится о своем саде, и не требовать абсолютного овладения ею. Таким образом, Папа выступает за «просвещенный антропоцентризм» и предлагает реализовать идею «ответственного управления» планетой. Однако на этот путь нельзя ступить, пока существует капиталистическая практика, обесценивающая человеческий труд [там же].

Именно в обсуждение «просвещенного антропоцентризма» социальные и гуманитарные науки могут внести наибольший вклад. Среди популярных концепций, связанных с этой проблемой, можно назвать новый материализм, постгуманизм, акторно-сетевую теорию Б. Латура. В данном случае ключевой идеей, полагает Д. Чакрабарти, является то, что, если люди ориентируются только на собственное благосостояние и полагают, будто планета создана для удовлетворения их потребностей, их ждет путь саморазрушения.

Ответом социальных и гуманитарных наук может стать установление более тесных контактов с геологией и биологией (в частности, с эволюционной историей жизни). Человек должен быть помещен в более глубокий контекст древней истории жизни на этой планете [017, с. 42]. И это совсем не означает, что ученые должны перестать дискутировать о справедливости, неравенстве, угнетении и других традиционных темах. Антропоцентризм, преобладающий в социальных и гуманитарных науках, должен быть дополнен, а не отменен. Таким образом, заключает Д. Чакрабарти, если бы науки о человеке и обществе вступили в диалог с биологией и геологией, воплощающими в себе принципы «большого времени», то мы бы увидели, что диалектика антропоцентричных и неантропоцентричных подходов в социальных и гуманитарных науках себя исчерпала.

А.Ю. Долгов

CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

2017.03.018. КУЛИ Ч.Х. ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. (Перевод с англ.).
COOLEY Ch.H. The process of social change // Political science quart. – N.Y., 1897. – Vol. 12, N 1. – P. 63–81.

Выражения «естественный отбор», «выживание наиболее приспособленных» и «борьба за существование» наряду с другими, пришедшими из «Происхождения видов» и «Синтетической философии», применяются ныне к социальным явлениям и прочно вошли в обиход как описания того, что происходит у людей. Некоторые, однако, спрашивают, не прижились ли они, как это предполагается в отношении наших серебряных долларов, больше в силу доверия к их авторам, чем исходя из ценности каких-то конкретных идей, обычно с ними связываемых.

В употреблении этих выражений есть, вообще говоря, много неясности, и одна из задач этой статьи состоит в том, чтобы сделать что-то для их прояснения, т.е. выяснить, насколько возможно, могут ли эти сомнительные ярлыки как-нибудь быть обменены на стандартную валюту царства мысли и факта. Имея в виду эту цель, я собираюсь сначала разобраться, насколько естественный отбор первичного, животного типа, о котором учит Дарвин, является процессом социального изменения, а затем, если окажется, что здесь присутствует иной процесс, рассмотрю его природу и действие. Исследование удобно разделить на три части:

I. Естественный отбор как процесс социального изменения.

II. Социальное изменение, в собственном смысле слова.

III. Влияние коммуникации на социальное изменение.

I

Что касается разных расовых элементов в населении Земли, то дарвиновская идея изменения посредством выживания – идея, что все существующее существует постольку, поскольку оно в то или иное время одержало верх в борьбе за существование, – вовсе не спекуляция, а самая проверяемая в мире вещь. По поводу других видов еще могут быть сомнения, но в случае *homo* этот процесс происходил в свете всей истории и продолжается в полную силу в настоящее время. Трудно было бы отыскать какой-либо крупный регион, где одна раса, нация или племенная группа не возрастала бы в численности за счет уменьшения какой-то другой. М-р Гальтон находит, что «вероятно, вряд ли на земле есть такие места, которые бы в пределах последних тысячелетий не населялись самыми разными расами»[1], и «что, в среднем, в каждом районе умеренного размера на поверхности Земли можно обнаружить как минимум три разных расы». От рас в Южной Африке у него возникло впечатление «постоянного состояния ферментации и изменения – быстрого развития какого-то клана здесь и полного или почти полного подавления другого клана там». Мы и сами часть этого процесса. Мы пребываем посреди быстрого и запутанного движения, общее направление которого достаточно ясно, хотя детали от нас и скрыты. Европейские расы почти везде находятся на подъеме: в нашем столетии они почти утроились численно и – с тевтонскими народами впереди и англичанами во главе – распространились и умножились на большой части земной поверхности[2]. В Соединенных Штатах мы увидели, как исчезают индейцы и остаются негры, а в наших городах и новых сельскохозяйственных регионах суще-

[1] Galton F. Inquiries into human faculty and its development. – L.: Macmillan, 1883. – P. 310 ff.

[2] Согласно «Таблицам населения» Хюбнера, в Европе в 1895 г. было около 366 млн человек В 1801 г. было 175 млн. По расчетам Левассёра, численность европейцев вне Европы составляла в 1800 г. 9,5 млн человек, в 1890 г. – 91,5 млн (Levasseur E. La population française: Histoire de la population française avant 1789. – P.: A. Rousseau, 1892. – T. 3, Ch. 9). Проф. Бринтон утверждает, что белая раса два столетия назад насчитывала 100 млн человек, что составляло около 10% мирового населения, а в настоящее время только европейские ветви насчитывают 500 млн человек, или треть населения Земли. См.: Brinton D.G. Races and peoples: Lectures on the science of ethnography. – N.Y.: N.D.C. Hodges publishers, 1890. – P. 298.

ствует активная конкуренция между недавними иммигрантами – выходцами из всех европейских народов – и между ними и потомками иммигрантов былых времен.

Но если исследователь отвлекается от конкуренции рас и обращается к изучению того, что происходит внутри любой отдельной расы, то, оказывается, не так легко узнать, как здесь работает естественный отбор; действительно, нелегко показать, что он вызывает здесь какие-то значимые изменения. Представим, например, что он хочет выяснить, какие изменения, помимо обусловленных взаимным смешением с другими расами, претерпели в ходе истории англичане. Чтобы понять суть этого вопроса, необходимо вспомнить, что в институтах, манерах, морали и даже во внешнем облике народа могут происходить великие изменения, необязательно означающие, что произошло какое-либо органическое изменение в расе, будь то через естественный отбор или как-то иначе. Если в нашей стране поселяется английская супружеская пара, то их дети будут впитывать из нашего климата и общества особенности внешнего вида и поведения, которые будут маркировать их в глазах всего мира как американцев; но эти изменения мало связаны с естественным отбором, и остается неясно, могут ли они хотя бы в какой-то степени передаваться по наследству. Это же касается и преобразований, составляющих подъем и падение наций: они главным образом, если не полностью, того же качества. Они происходят чересчур быстро, чтобы быть обусловленными естественным отбором или каким-то органическим изменением в расе. Упадок представляет собой, по-видимому, социальный износ, который утягивает вниз индивида, подчиняя его нездоровым влияниям. Так, нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что сегодняшние китайцы или испанцы в чем-либо существенно отличаются от своих предков во времена величия и славы этих народов; дегенерация у них, по-видимому, имеет тот же характер, что и наблюдаемая в поведении группы мальчиков, подпавших под дурное влияние[1]. Это упадок общей атмосферы, морального духа, институтов, но не естественных способностей.

[1] «Чистокровно белый испаноамериканец, предки которого жили три века в Тропической Америке, гражданин Соединенных Штатов, восходящий в своей генеалогии к пассажирам “Мэйфлауэра” или “Вэлкама”, крайне мало отошел от стандарта сегодняшнего андалузца или англичанина, хотя те, кто лично не изучал

Убедительным примером возможного расхождения между естественным отбором и социальным изменением служит тот факт, что институты, враждебные выживанию, вроде монастырской системы, могут столетиями распространяться и процветать, не повинуясь животной наследственности.

Научная проверка органического различия состояла бы в том, чтобы взять для сравнения новорожденных младенцев, типичных для родовых групп, и отметить, какие несходства у них развиваются, когда они вырастают под одними и теми же социальными влияниями. Грубые сравнения такого рода возможны и между нынешними народами, но они, разумеется, практически невозможны для разных периодов в истории одной и той же расы. В случае евреев этот предмет изучался настолько основательно, насколько вообще позволяет природа этих изысканий, и считается сомнительным, что эта раса претерпела сколько-нибудь значительные изменения со времен Моисея[1]. Что касается нас и родственных нам народов – всегда оставляющих в стороне смешение рас, – то, думаю, мало кто из антропологов решится сказать что-нибудь позитивное. А если бы они что-то и сказали, то не приходится сомневаться, что между ними не было бы согласия в вопросе направленности изменения. Многие предполагают, например, что физическая сила падает вследствие ее неиспользования, растущего преобладания интеллекта как фактора успеха, сохранения слабых детей и поддержки пауперизма и порока через благотворительность[2]. Но прямого доказательства упадка нет, и вполне возможно, что названные силы более чем уравновешиваются другими, которые можно считать противоположно направленными, такими как лучшее и более регулярное

вариации в сравниваемых странах, часто утверждают обратное. Климатические условия и условия питания материально запечатлеваются в индивиде, но не в расе. Нубийские греки так же темнокожи, как и нубийцы, но дайте их детям вернуться в Грецию – и нубийский оттенок кожи исчезнет. Это общая истина, она относится ко всем легким запечатлениям, производимым в чистых расах непривычными средами». Brinton D.G. Races and peoples: Lectures on the science of ethnography. – N.Y.: N.D.C. Hodges publishers, 1890. – P. 44, 45.

[1] См. статьи Нойбауэра и Якобса в 15-м томе «Журнала Антропологического института».

[2] Достойное восхищения обсуждение влияния благотворительности на выживание см.: Warner A.G. American charities. – N.Y.: Thomas Y. Crowell co., 1894. – Ch. 5.

питание, более широкая практика систематических упражнений, конгениальные браки и улучшение самых разных унизительных социальных условий. Любую из сторон в этом споре можно поддержать правдоподобными априорными аргументами, и в условиях нынешней недостаточности прямых свидетельств нет способа прийти к определенному выводу.

Можно даже спросить, стали ли ныне мыслительные способности сильнее, чем они были раньше. Несомненно, у тевтонских народов со времен возрождения учености была проделана огромная и разнообразная умственная работа; но даже если предположить, что эффект такого упражнения может наследоваться, нам все же приходится учесть, что в нем участвовала лишь малая часть расы. Более того, когда мы видим, что люди, занимающие ведущие места в литературе, науке и государственном деле, часто имеют происхождение из крестьянского класса, праотцы которого не участвовали сколько-нибудь ощутимо в интеллектуальной активности прошлого, нам ясно, что культура предков несущественна для производства этих выдающихся результатов. Значимо также и то, что одно из самых примечательных интеллектуальных влияний нашего времени исходит от русских – народа, нового для цивилизации. Короче говоря, если бы мы смогли перенести в наше время несколько тысяч младенцев из нашего далекого прошлого и дать им современное воспитание и образование, то они могли бы, насколько мы знаем, внести свою долю в круг конгрессменов, романистов и инженеров-электриков и были бы малоотличимы, во всяком случае, от остального населения. Статуя «Умирающий гладиатор» представляет нашего возможного предка более чем двухтысячелетней давности, и тем не менее он кажется мне вполне современным и узнаваемым, – возможно, немного диким, чего и можно ожидать от его образа жизни, но в прочих отношениях человеком, которого мы могли бы встретить в наше время почти везде.

Естественный отбор, в отличие от конфликта рас, очевидно, гораздо действеннее в сохранении типов, чем в их изменении, ведь он препятствует широким отклонениям в любом направлении. Закоренелые преступники и люди, погрязшие в саморазрушительных пороках, как класс немногочисленны; но людей выдающихся умственных и моральных способностей ничуть не больше. Костяк насе-

ления составляет промежуточное и ничем не примечательное множество.

Некоторые придерживаются представления, что наиболее деградировавшие классы самые плодовитые, но я не знаю ничего, что бы этот взгляд поддерживало. К условиям быстрого естественного прироста относятся физическая сила и сравнительно стабильная семейная жизнь. В обоих отношениях нищие и преступные классы решительно уступают остальному населению. С другой стороны, многие предполагают, что успех и выживание идут рука об руку что то, что мы называем конкуренцией, есть всего лишь более или менее смягченная форма борьбы за существование и что, как правило, и в долгосрочной перспективе, те, кто достигает богатства, власти и всего прочего, к чему стремятся люди, способны оставить после себя больше детей, чем другие, а тем самым и увековечить те характеристики, которым они обязаны своим успехом. Часто предполагают, что это вещь настолько сама собой разумеющаяся, что не требует никаких специальных исследований. Но это допущение предстанет безрассудным любому, кто вообще знаком со статистикой, и, видимо, в его основе лежит не прямое изучение человечества, а поспешный вывод из результатов биологии. Люди, достигшие необычайного успеха, не отличаются особой плодовитостью; насколько можно выяснить из статистики, они как класс ниже среднего в этом отношении. Более того, можно подготовить весьма правдоподобный аргумент, с цифрами *ad libitum*, показывающий, что успешные вовсе не выживают и, следовательно, являются неприспособленными. Несомненно, стандарт успеха природы, т.е. выживание, совершенно отличен от социального стандарта, и они в значительной мере друг другу противоположны. Ранний брак и заведение большой семьи никак не благоприятствуют удовлетворению личных амбиций. Отсюда представляется, что броская неудача и броский успех примерно одинаково неблагоприятны для выживания и что те пути, которые далеко отходят от протоптанной основной дороги обычного человечества, ведут к вымиранию.

Этот консерватизм, заключенный в условиях выживания, хорошо иллюстрируется примером образованных женщин. В целом они кажутся весьма преуспевающим классом людей и классом, чей прогрессивный дух было бы хорошо передавать всеми возможными способами; и все же мы не можем ожидать, что женщины, к не-

му принадлежащие, оставят после себя столько детей, сколько те, вся энергия которых уходит в репродукцию. На самом деле значительная часть университетских женщин вообще не выходит замуж, а остальные скорее всего выходят замуж позже и рожают детей не так часто, как другие женщины[1].

Соответственно, если отложить в сторону вопрос о преобладании рас, вообще не ясно, действует ли естественный отбор определенно или же быстро в качестве причины социального изменения. Несомненно, человеческие расы, особенно те, чья история полна событий, претерпевают в большей или меньшей степени органическую трансформацию: так определенно должно было быть в прошлом, поскольку иначе не могли бы зарождаться новые типы; и маловероятно, что этот процесс совершенно прекратился. Вместе с тем эта трансформация происходит, вероятно, медленно, и ее характер и направление трудно отследить; все это, включая законы наследственности, требует досконального изучения и, несомненно, его получит. В то же время ясно, что естественный отбор этого простого, животного типа не является обычным процессом социального изменения. Он имеет мало общего с подъемом, распространением и упадком архитектуры, музыки, живописи, поэзии или великих религиозных систем; это не тот процесс, посредством которого смягчаются формы правления, расцветает массовое образование и улучшаются манеры, и явно не тот, через который утверждаются новые взгляды на детство и положение женщин.

II

Процесс, порождающий мнения, моральные стандарты и институты и приводящий к прогрессу или упадку, особенно характерен для человеческой жизни, хотя считается, что он действует в какой-то мере у всех социальных животных. Он держится на способностях к подражанию, симпатии и умственной деятельности и связан с естественным отбором через вероятность того, что у этих

[1] См.: The health statistics of female college graduates: Fifteenth annual report. – Boston (MA): Massachusetts bureau of labor statistics, 1885. См. также: Shinn M.W. The marriage rate of college women // The Century. – N.Y., 1895. – Vol. 50, N 6. – P. 946–948.

способностей есть эволюционная история, в которой отбор играет некоторую роль.

Нетрудно было бы показать, что высшие способности у человека, вопреки мнению некоторых, – это не элементы, совершенно отдельные от борьбы за существование и не вяжущиеся с ней, а решающие ее факторы, пока она длится, пусть и тяготеющие к тому, чтобы заменить ее рациональной и симпатической кооперацией. Подражание и симпатия, как и интеллект, являются условиями могущества общества, и свидетельства того, что они возникли при помощи естественного отбора, схожи, хотя и гораздо менее осязаемы, с теми, которые указывают на такое же происхождение нашей телесной формы. Нет между тем никакой важности в том, чтобы мне обсуждать этот вопрос; достаточно отметить то, что наше восхождение над иными существами связано с гибкостью природы, происходящей из подражания и симпатии и делающей нас способными к социальному изменению.

Человек не столько силен сам по себе, сколько сформирован так, чтобы составлять часть сильного целого. Если он воспитывается от рождения каким-нибудь диким зверем и тем самым отрезан от тех коммуницируемых искусств и действий, к которым один только он хорошо приспособлен, то он будет вести убогую борьбу за существование и может откатиться к своим примитивным навыкам лазанья по деревьям. В обществе же он силен, и главной составляющей его силы служит тот факт, что, поскольку над ним главенствуют подражательные и симпатические способности, он приспосабливается к бесконечному многообразию деятельностей. Он, в целом, покладистое, конформное животное и обязан своим могуществом своей податливости.

Психологические и социологические исследования явно ведут к заключению, что социальный фактор в индивидуальном поведении значительнее, чем представляется[1]. Каждая мысль и каждый акт, направляемый мыслью, как-то связаны с социальной

[1] Вряд ли необходимо подкреплять это утверждение ссылками: исследования Тарда, Болдуина и других в области «подражания» и теория «сознания рода» проф. Гиддингса – известные примеры этого установленного факта. В «Трудах Национальной конференции благотворительных и коррекционных учреждений» за 1896 г. содержится статья автора этих строк «Природа и воспитание в построении социальных карьер», где кратко раскрыта одна из сторон этого вопроса.

средой, прошлой или настоящей, и не могли бы быть такими же, если бы она была совершенно другой. Человек рождается с энергиями и тенденциями, сильными, но неопределенными, и они, будучи подстрекаемы и питаемы миром, в который он попадает, неразличимо смешиваются с ним и образуют новое органическое целое, характер и карьеру. Подражательность, контролирующая столь многие наши действия, притом что мы этого не знаем, страх неодобрения, ведущий к конформности не только в одежде и манерах, но и в серьезнейших частях поведения, надежда на одобрение, побуждающая агрессивные души совершать смелые поступки на глазах человечества, культ героев, патриотизм, симпатия и любовь – все это дает обществу контроль над его членами. Страсть к тому, чтобы быть чем-то в умах и сердцах людей, есть сама жизнь жизни, огонь, сплавляющий индивидуальные силы в социальное могущество. Когда наши способности прикасаются к этому потоку человеческого интереса, они раскаляются добела, подобно куску металла, вошедшему в соприкосновение с потоком пламени от горелки; остальные из нас остаются холодными, бездеятельными и незаметными.

Эту потребность в одобрении часто называют слабостью и противопоставляют предположительной силе самодостаточности; на самом деле ни один человек, в котором есть хоть что-то человеческое, не бывает самодостаточен, и любовь к одобрению является слабостью только тогда, когда ведет к непостоянству в поведении. Вероятно, сильнее всего она выражена в лучших организациях, и искоренить ее вряд ли возможно: пытаться от нее избавиться – все равно что человеку погрузиться в воду и пытаться вычерпать из себя воду руками. Самое большее, что люди могут сделать (и это крайне важно), – это выбрать себе одобряющих, возможно, заменив отдаленными или даже воображаемыми лицами тех, кто под рукой, читая великие книги, наблюдая мудрых людей и культивируя тем самым чувство героического мнения. Поскольку все должны почитать героев, очень важно иметь подходящего рода героя.

Человеческую природу вообще изменить трудно, но восприимчивость к социальным влияниям – самое неисправимое ее качество. Нам нужно проводить ясное различие между природой и поведением: первая есть стабильная основа для бесконечного разнообразия второго. Ассоциация не может изменить природу, но

обычно контролирует поведение. Она вряд ли сделает раздражительного человека спокойным, а глупого умным, но легко может сделать одного умного человека инженером, а другого – изобретательным грабителем. Карьера никогда не вытекает из одной лишь природы; одна и та же природа будет увенчиваться любой из сотни возможных карьер, в зависимости от оказанных на нее влияний. Мы связаны с нашими ближними наследственностью в той части, которая в нас относительно постоянна, и влиянием в той части, которая пластична; человеческая природа передается одним, институты, поведение и мнения – другим.

Именно эта пластичность делает каждого из нас не столько сильным самого по себе, сколько пригодным для того, чтобы стать частью сильного целого. Наше мышление и наши чувства, в отличие от инстинктов у животных, не предопределены к тому, чтобы работать на одну цель; они не специализированы и работают сообразно принципам общей полезности, направляя нас к целям, поставленным перед нами обществом, в котором мы живем. Мы настолько счастливо задуманы, что человечество может прогрессировать без изменений в человеческой природе, пользуясь той особой конституцией этой природы, которую мы уже имеем. Соответственно, должная мера конформности есть мера условий социального прогресса. Конформные влияния часто осуждаются, например у Эмерсона, когда он говорит, что «общество – это заговор против независимости каждого из его членов» и что «быть человеком – значит быть нонконформистом». Это отчасти верно и полезно; но верно также и то, что конформность – это социальная дисциплина, от которой никто не может и не должен быть совершенно свободен. Она не только опускает, но и возвышает, не только мешает гению, но и предотвращает преступность и анархию; она связывает людей в сильное, но послушное целое. Партия первооткрывателей, находясь на трудном участке пути, должна держаться вместе, даже если ее участники не могут достичь согласия относительно наилучшего маршрута; и большинство людей с необходимостью устроены так, что у них нет склонности покидать ряды.

Следовательно, человеческая эволюция, как и эволюция животных, основывается в первую очередь на могуществе; но могущество держится на кооперации, а кооперация предполагает социальную дисциплину и индивидуальное послушание. Человеческий

род силен благодаря хорошему взаимопониманию, своевременному самоотречению в борьбе, институтам, символизирующим и укрепляющим социальное единство, но прежде всего – благодаря человеческой природе, не только интеллектуальной, но и подражательной, конформной, симпатической и способной к коллективному подъему.

Эта подражательная и симпатическая человеческая природа, служащая средством для социального могущества, предполагает процесс социального изменения. Работая и перерабатываясь через удивительный механизм языка, она способна сплавлять людей в подвижное целое, каждая часть которого каким-то образом чувствует движение каждой другой части и реагирует на него. В этом потоке (fluid) распространяется бесконечное множество движений мысли и действия, среди которых – по закону вероятности, если уж не по какой-то другой, более весомой причине, – время от времени возникают подходящие вариации. Поскольку их подходящий характер в какой-то мере воспринимается, то эти инновации обычно сохраняются и накапливаются, укореняясь в традиции и склонностях и закрепляясь для ума и глаза в законах, верованиях и архитектуре. Именно из таких движений главным образом и состоит историческое изменение. Это процесс выживания, в котором важным фактором является сознательный отбор, производимый людьми; меж тем сознание почти всецело ограничено непосредственными деталями. Только в последнее время в социальных движениях назревает общая тенденция к тому, чтобы быть предметом знания и выбора. При описании процесса социального изменения есть соблазн уподобить его волне или комбинации волн; но, как это обычно случается при попытках представить социальные факты аналогичными физическим явлениям, эта фигура речи безнадежно не соответствует истине. Резонно ясное понимание сути дела может явиться только через исследование процесса коммуникации – исследование, имеющее ключевое значение для перевода фактов социального изменения с языка психологии на язык истории. Две вещи – человеческая природа и механизм коммуникации – всегда должны сотрудничать. Первая является относительно постоянным фактором, второй же в высокой степени изменчив и именно потому особенно интересен и важен. Его вариации обычно двигались в сторону большей эффективности, и в значительной мере благодаря

этому история двух минувших тысячелетий является летописью быстрого и все ускоряющегося социального изменения.

III

Мы знаем, что человек – симпатическое, коммуницирующее животное, и я сказал, что именно это делает его податливым, пластичным, пригодным для формирования социальной средой. Но что формирует среду? Эволюция среды – самое судьбоносное изменение в истории.

Социальная среда человека охватывает всех лиц, в отношении которых он проявляет разумность или симпатию, все влияния, которые доходят до него. Если я читаю Аристотеля, то моя среда расширяется на две тысячи лет назад; если я читаю донесения из Японии, то она вбирает и антиподов. То, что на меня могут оказывать влияние «Илиада», Новый Завет и другие высказывания людей, далеких от меня во времени и пространстве, обусловлено искусствами письма, печати и транспорта подобно тому, как то, что я могу получить сложную мысль от моего соседа, обусловлено искусством речи. Иначе говоря, социальные влияния действуют через некоторый механизм, и характер их действия зависит от характера этого механизма. Существующая система коммуникации определяет протяженность среды. Общество – это вопрос сферы влияния людей друг на друга, а так как это влияние обусловлено коммуникацией, то история последней составляет основание всей истории. Наверное, стоит напомнить некоторые из наиболее очевидных фактов этой истории и высказать кое-какие предположения по поводу того, что они означают.

Механизм коммуникации включает, конечно, жестикуляцию, речь, письмо, печать, почтовые отправления, телефоны, телеграфы, фотографию, технику искусств и наук – все способы, с помощью которых мысль и чувство могут переходить от человека к человеку.

Речь, несомненно, связала доисторических людей в группы и позволила им войти в историю с социальной природой и социальными институтами. Однако как инструмент социальной организации речь имеет серьезные недостатки: ей недостает масштаба как во времени, так и в пространстве. Она может пройти лишь там, где проходит человек; и хотя она может передаваться от человека к

человеку и тем самым от поколения к поколению, она течет тоненьким и блуждающим ручейком, ограниченным в емкости, и каждый ум, через который она протекает, уводит ее в своем направлении. Какими были бы сейчас Новый Завет или труды Платона, если бы они пришли к нам этим путем?

Этот ненадежный ручеек устной традиции письмо заменяет многочисленными и нерушимыми прочными узами, доходящими до всех времен и стран, практикующих это искусство, и прочно скрепляющими воедино историю. Оно делает возможным широкое политическое влияние, которое не может хорошо организоваться и поддерживаться без писаных законов и точных инструкций[1]; оно допускает прогресс наук, который является кумулятивным достижением, предполагающим накопление знания в пыльных рукописях; это состояние диверсифицированной литературы, ведь традиция, неспособная перенести много, ограничивается только наиболее ценимым, преимущественно историями. Короче говоря, можно без преувеличения сказать, что письмо лежит в основе всякого социального расширения и индивидуальной специализации. Оно безмерно расширяет среду для всех, кто умеет читать и имеет доступ к манускриптам; и оно позволяет человеку формировать собственную среду, удерживая из всего многообразия материалов то, что ему подходит, и открывая коммуникацию с конгениальными умами отдаленных времен и мест. Делая это, каждый индивид, конечно, становится центром распространения всего, что он получает, и расширяет среду многим другим. Так человечество достигает кооперации, непрерывности и способности к рациональному и устойчивому прогрессу.

Особая функция печати состоит в том, чтобы сделать коммуникацию общей, или демократичной. До тех пор пока письмо от руки было единственным средством записи, книги были дорогими, газеты – вообще немыслимыми и доступ к хранилищам мысли и чувства был привилегией немногих. В таких условиях возможность была сродни раннему солнцу: оно освещало тут и там вершину

[1] На мой взгляд, нет ни одного случая, когда народ достиг бы определенной, расширенной и устойчивой политической организации без использования той или иной формы письма. Ср. наблюдения Гиббона: Gibbon E. The history of the decline and fall of the Roman Empire, with notes by Dean Milman and M. Guizot / Ed., with additional notes, by W. Smith. – L.: John Murray, 1887. – Vol. 1. – P. 354.

холма, но оставляло в тени всю долину. Иными словами, печать не может сделать поток знания более глубоким или улучшить вкус воды, но открывает дорогу вдоль берега и дает каждому чашку, из которой он может этой воды испить. Вместе с массовым образованием, которое ей естественным образом сопутствует, печать образует главный свободный институт, без которого никакой другой род свободы не мог бы долго длиться и с помощью которого мы можем надеяться достичь большей свободы, чем та, что у нас есть.

Вполне стоит поразмыслить над тем, что означают эти изменения для отдельного человека, рождающегося с готовностью к бесконечному развитию через подражательную и симпатическую природу. Рассмотрим, например, группу наших предков, жившую несколько тысяч лет назад, сравнительно небольшую, лишенную искусства письма и мало знающую о других группах. Примитивная жизнь – это поле, богатое на споры, и в этом отношении она вряд ли может себя исчерпать; но большинство исследователей признают вероятность того, что наши далекие предки жили в небольших обществах, были лишены письменности и имели самые смутные представления об остальном человечестве. Такие группы вели друг с другом настоящую борьбу за существование, но внутри каждой из них, т.е. в кругу возможного хорошего взаимопонимания, бурлила активная социальная жизнь. Матери любили своих детей, а мужчины сражались за своих вождей; мысли и акты всех были связаны воедино подражанием, потребностью в одобрении и в общем плане – коммуникативными мотивами. В этой социальной среде (medium) распространялись такие движения изменения, которые допускались ее параметрами. Но подумайте об узости этих параметров, о скудости образцов для подражания, о крайней смутности знания о великих людях прошлого и совершенном неведении о великих людях других обществ! Убогая среда ограничивала развитие врожденных наклонностей и способностей, и сравнительное тождество мысли и действия отражало узкую ограниченность общей жизни.

При таком положении дел все более широкие социальные отношения должны быть либо отношениями вражды, либо отношениями господства. Поскольку коммуникация служит точной мерой возможности социальной организации, хорошего понимания между людьми, то отношения, выходящие за пределы сферы ее действия,

являются не подлинно социальными, а механическими. Отдавая должное прошлому, мы должны признать, что до появления печати и телеграфии у массы людей в любом крупном государстве не было возможности иметь свободную и сознательную связь с социальным целым. Основы для социального сознания не существовало. Люди в целом не могли понять, что происходит, и их действия с необходимостью регулировались авторитетом. Крестьянин, простой солдат не могли сотрудничать в широких социальных движениях иначе, чем это делает гужевая лошадь в движениях торговли.

Если два человека, неспособных понять друг друга, входят в контакт, то возможны три вещи: они могут разойтись, могут сойтись в бою и один может поработить другого. Точно так же и социальные группы древнего мира могли игнорировать друг друга, вести войны друг с другом или принудительно объединяться в механическое целое. Поскольку на практике первое обычно было невозможно, а механический союз оказывался сильнее, чем его отсутствие, обычно преобладал третий курс. В особенности так стало после того, как коммуникация достигла уровня, сделавшего практически осуществимой организацию широких военных деспотизмов. В древности большое свободное государство не могло образоваться, а маленькое не могло себя сохранить.

Если сложить все это вместе, эту бедность влияний и привычку к войне, которую можно было заменить только чем-нибудь вроде рабства, то мы далеко продвинемся в объяснении известных различий между нашими далекими предками и нами самими. Они, возможно, очень от нас отличались, но нет никакой необходимости предполагать, что они были такими, чтобы объяснить, почему они жили иначе, чем мы.

Человеку наших дней общество, стремящееся ныне стать кооперирующим целым благодаря расширению знания и симпатии, пришедшему вместе с ростом коммуникации, предлагает выбор среди множества сред. В связывании себя с остальным человечеством он принимает все более активную роль, аккумулируя элементы характерной среды через механизм избирательного сродства. Можно быть подражателем – а, в сущности, все и должны таковыми быть, – но все же развернуть через подражание характер, отличный от характера любого другого. Коротко говоря, широта и разнообразие жизни, зависящие от коммуникации и ежедневно разверты-

вающегося перед нашими глазами расширения мира, ведут к освобождению человека посредством открытия его симпатической и податливой природе «гордого выбора влияний». Он уже не просто, как в первобытные времена, член социальной группы, стремящейся сформировать его мышление и действие; он точка пересечения множества групп, каждая из которых, хотя и рассеяна во времени и месте, оказывает на него реальное и отчетливое влияние. В наши дни человек не менее зависим от социальных влияний, чем в прошлом, но меньше зависит от тех конкретных влияний, которым случилось оказаться ближе всего к нему. Каждая книга, каждая газета, каждое скульптурное, живописное или музыкальное произведение, к которым он имеет доступ, каждый человек или место, входящие в его опыт благодаря путешествиям, – это магазин, куда он может войти, дабы рассмотреть товары и, если будет желание, что-нибудь купить. Миллион сред домогаются его; вместо монополии – энергичная конкуренция.

Сегодняшнее разнообразие и сравнительная свобода индивидуального развития держатся в основном на этой множественности доступных влияний, а не на радикальном изменении в человеческой природе. Если человек взглянет на круг своих знакомых, то не найдет даже близко той одинаковости, которая преобладает у дикарей; у каждого человека есть свои особые мнения и способы действия, каждый выглядит самостоятельным. Эта обманчивая видимость обусловлена тем, что социальные связи больше не контролируются простой смежностью. Благодаря искусству общения ассоциация сбрасывает с себя грубые и гнетущие узы времени и места и ставит на их место конгениальные связи симпатии и выбора. Таким образом, если человек и выглядит самостоятельным одиночкой, то прежде всего потому, что состоит в отношениях с теми, кого не видно; если и кажется, что он идет не в ногу с процессией, то, вероятно, потому что он, как говорит Торо, слышит иного барабанщика. Мы мало знаем о влияниях, сформировавших его ранние имажинации, и о тех лицах, одобрения которых он теперь жаждет и с образцами и мнениями которых он пытается сообразовывать свои действия. Часто они очень далеки – его родители и старые друзья, быть может, или ведущие фигуры в его профессии, или книжные персонажи, – но факт остается фактом: характер и поведение питаются социальными влияниями. Чтение автобиогра-

фий или внимательное прочтение тех частных записей, которые люди носят в своих воспоминаниях, показало бы, что люди остаются подражателями и почитателями героев. Особенно это касается детей, проводящих значительную часть своей умственной жизни в воображении сцен, в которых они добиваются великими деяниями аплодисментов тех, кем они восхищаются. И, конечно, способы мышления и действования, рождающиеся из симпатии и восхищения, обычно, как и все, что мы делаем, входят в привычку и упорно сохраняются посреди обстоятельств, очень отличных от тех, в которых они зародились, выглядя при этом проистекающими из самодостаточной личности.

Эти же условия благоприятствуют и более заметным формам индивидуальности, а именно оригинальности и гениальности. Оригинальность – это не что-то независимое от окружения, а скорее характерный способ реагирования на него. Каким бы оригинальным ни был человек, он может развернуть и выразить свою оригинальность только через те влияния и материалы, которые ему доступны, а число и разнообразие их зависят от коммуникации. «Мы и впрямь рождаемся со способностями, – говорил Гёте, посвятивший всю жизнь изучению этого вопроса, – но своим развитием мы обязаны тысяче влияний великого мира, из которых мы вбираем в себя то, что можем и что нам пригодно». Чтобы обладать гениальностью, существенно, чтобы незаурядный ребенок родился в мир; однако оснащенность естественными дарованиями, какими бы они ни были выдающимися, – это лишь один из двух факторов, создающих карьеру. Одаренный ребенок, подобно желудю, действительно способен к чудесному росту, но может так ни к чему и не прийти, если не найдет подходящего питания. Идея неизбежного антагонизма между индивидуальностью и ассоциацией – иллюзия. Они взаимозависимы: они всегда развивались и всегда должны развиваться бок о бок. Как правило, нас сдерживает в развитии не избыток ассоциации, а неправильный ее вид.

Наконец, нетрудно увидеть, как это расширение общения повлияло на процессы социального изменения. Вернемся к сравнению с волнами; в конце концов, это лучше, чем ничего. С точки зрения передачи влияний первобытные общества можно уподобить узким полоскам воды. Они расходились больше во времени, чем в пространстве, но даже в первом направлении были подвержены

прерыванию в результате завоевания или распада; они соединялись друг с другом мелководьями и болотами случайных взаимодействий и быстро стихающими паводками федеративных объединений. Социальное изменение было с необходимостью локальным, подобно волнам на таких мелководьях. В свою очередь современное общество больше похоже на непрерывный океан, на просторах которого волны изменений не встречают никаких препятствий, кроме друг друга, достигая таких высот и дальностей, до которых порождающий импульс способен их довести. Так, если взять показательный пример, некоторые движения в искусстве, словесности и философии, неведомо как и где возникшие, но достигшие большой высоты у греков, прокатились по ничего не подозревавшим Средним векам, потом столкнулись с современниками Петрарки и в конце концов вошли расширяющимися кругами в наше время. Изобретение письма открыло мир конкуренции социальных институтов, во многом подобно тому, как морская навигация открыла его соперничеству рас. Область действия расширилась, и все движения стали происходить в разросшихся масштабах[1].

Это расширение среды изменения сопровождается столь же примечательной дифференциацией внутри нее, предполагаемой тем, что я уже сказал ранее о росте индивидуальности. Социальных сред так же много, как и специализированных групп симпатически связанных и коммуницирующих индивидов, и при выборе своей среды индивид выбирает, к какой группе будет принадлежать. Каждая из этих групп, или сред, подчинена более или менее специфичным для нее движениям; в ней есть в какой-то мере собственные мнения, институты и традиции. Таким образом, если мы захотим уподобить современные социальные движения волнам, то мы должны будем принять во внимание бесчисленное множество течений, взаимно проникающих друг в друга, подобно тому как светоносный эфир взаимно смешивается со звуконосным воздухом; каждое из них легче всего передает волнообразные движения, рождающиеся в нем самом, но все же чувствует и влияние движений,

[1] Нет лучшей иллюстрации этого, чем рост великих религиозных систем, основанный на письменном документировании жизни и максим их основоположников. Вполне возможно, что индивиды, обладавшие трасцендентными качествами, появлялись и в доисторические времена, но подражание им не могло организоваться в обширные и долговечные системы без помощи аутентичных записей.

рождающихся в других; каждое течение в отдельности, как и единое целое, образованное подобными течениями, постоянно пронизывается множеством волн, обладающих всеми мыслимыми различиями в силе, периодичности и направленности. Даже в такой формулировке сравнение все же во многих отношениях неадекватно, прежде всего в том, что оно ничего не говорит об активном участии, которое могут принимать во всем этом индивиды. Оно изображает то, что произошло бы, если бы каждый пребывал в равновесии в случае каждой установленной конгениальной связи, в то время как на самом деле каждый из нас постоянно движется, больше или меньше, в поиске конгениального – сопротивляясь, преломляя или дополняя социальный импульс особым для него способом. Тем не менее, поскольку люди имеют схожие природы, входящие в симпатию через коммуникацию, они реально образуют своего рода поток (fluid), в котором импульсы распространяются простым внушением или контактом. Если перед картиной стоят два человека со схожим чувством формы и цвета, то они и художник образуют одно через эту картину.

Более свободное развитие индивидов предполагает, конечно, более свободное развитие социального порядка, поскольку отношения по выбору – отношения, которые отвечают чувствам людей, – стремятся распространиться и возобладать над отношениями вражды и принуждения. Именно коммуникация дает человеческой природе справедливый шанс, сметая с ее пути барьеры невежества, слепой вражды и ограниченности места и позволяя человеку организовать его высшие симпатические и эстетические импульсы.

В последние пятьдесят лет развились новые средства коммуникации – быстрое почтовое сообщение, телеграфы, телефоны, фотография и чудеса ежедневной газеты; все они убыстряют и диверсифицируют поток мысли и чувства и умножают возможности социальной связи. Работа этих средств слишком важна, чтобы обсуждать ее в спешке, а полное ее обсуждение увело бы меня слишком далеко; поэтому я ограничусь замечанием, что они делают все влияния более быстрыми в передаче и общими в распространенности, доступными на большем расстоянии и для большего числа людей. Что же касается общего характера социального изменения, то этот эффект можно описать как более совершенное разжижение социальной среды. Плотная, неэластичная жидкость вроде смолы

или патоки будет передавать только сравнительно большие волны; но в воде большие волны несут на своей поверхности небольшие волны и рябь всех размеров и направлений. Так что если бы мы сравнили сегодняшнее общество с обществом пятидесятилетней давности, то мы бы обнаружили, что большие изменения несколько ускорились и что к ним добавилось множество мелких изменений, которые в былые времена не могли бы распространиться за пределы личного контакта. Легкая рябь теперь разносится далеко: наисвежайшие моды в плащах и книгах проникают в самые глухие уголки и опоясывают собою весь мир.

Процесс изменения, который я описал, заключает в себе отбор и, возможно, так же естествен, как и все прочее. Поэтому мы можем, если угодно, назвать его естественным отбором. Он возникает через конкуренцию влияний и размножение удобных инноваций в мысли и действии. Селективным принципом, арбитром конкуренции, оказывается всегда человеческая природа – но не вообще, а обусловленная в своих выборах состоянием коммуникации, определяющим, какие влияния будут доступными, а также сдерживающей инерцией своего прошлого.

Пер. с англ. *В.Г. Николаева*

2017.03.019. КУЛИ Ч.Х. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. (Перевод с англ.)[1].

COOLEY Ch.H. Political economy and social process // J. of political economy. – Chicago (IL), 1918. – Vol. 26, N 4. – P. 366–374.

В прошлом я претендовал в какой-то мере на то, чтобы звться экономистом, получив в 1894 г. докторскую степень в этой области. Посвятив себя с тех пор занятиям социологией, я лишь недавно попытался восстановить свои экономические позиции, почитав книги, пользующиеся ныне наибольшим вниманием. Следующая статья – своего рода общий комментарий к этому чтению.

[1] Этот доклад был прочитан перед небольшой группой студентов и преподавателей в 1910 г. Некоторые из моих слушателей стали влиятельными учителями и авторами, и их острый интерес, усиленный дымкой ретроспективы, навел меня на мысль его опубликовать. В нем никогда не было ни капли претензии на компетентную критику политической экономии, и многое я бы сказал иначе, если бы писал этот доклад сейчас. Однако я не могу сказать, что считаю его по существу неверным, глядя с высоты сегодняшнего положения дел.

Наука и философия наших дней стремятся увидеть все как часть процесса, как нечто вырастающее под действием поддающихся установлению законов из прошлого и порождающее таким же образом будущее. Что все это должно означать в применении к экономике? Чего нам следует ожидать от учения об экономическом процессе? Такое учение должно, конечно, охватить что-то соответствующее теории производства, обмена, определения стоимости, конкуренции и т.п., которую мы сегодня изучаем по учебникам, но должно сделать при этом гораздо больше: оно должно показать эти непосредственные процессы как устойчивые и постижимые части экономического процесса в целом; оно должно позволить нам понять их человеческую значимость и разумно действовать по отношению к ним. Практическое руководство – вот чего мы вправе требовать от каждой социальной науки; и чтобы мы могли его получить, ее особые феномены должны быть увидены в свете самых широких их отношений. Следовательно, адекватное учение должно максимально, насколько возможно, учесть экономическое движение в целях рационального социального действия, направленного на экономическое благополучие. Там, где экономика не оправдывает этих надежд, она не выполняет свою существенную функцию; но хотя она их и не оправдывает, хотя эта функция и не может быть выполнена непосредственно, саму ее нельзя ни на миг отбрасывать как идею; мы должны держать эту идею в виду и не довольствоваться никакими ее заменами.

Что можно сказать об актуальной трактовке процесса, которую мы находим в учебниках и нынешних дискуссиях? Похоже, это почти всецело краткосрочное изучение механизма, примечательное с точки зрения проработанности в рамках ограниченной области, но ничем не примечательное с точки зрения широты и света, проливаемого на более широкую экономическую и социальную значимость того механизма, который в ней рассматривается. Дабы передать впечатление, оказываемое этими исследованиями на того, кто после долгого воздержания снова к ним обращается, могу сказать, что экономист-теоретик походит на человека, наблюдающего только секундную стрелку часов; он тщательно отсчитывает секунды, но вряд ли способен сказать, который час.

Можно сказать, что у нас есть еще историческая школа экономики, обращающая особое внимание на изучение более крупного

процесса. Я не могу со знанием дела ее обсудить, но просто отмечу по ходу дела свое впечатление, что ее методы слишком эмпирические, чтобы дать нам сколько-нибудь большие надежды на адекватное учение о процессе. На мой взгляд, нам нужна теория, но это должна быть такая теория, которая, не теряя из виду существенные результаты текущей экономики, настолько расширит их, чтобы они удовлетворяли в какой-то степени уже названным требованиям. Сегодня никто не сможет сказать, насколько возможна теория политической экономии, которая включит адекватное учение о процессе; ни одно достойное начинание не гарантирует успех; но я не вижу никаких причин предполагать, что эти трудности непреодолимы.

Дабы объяснить свое ощущение неадекватности нынешних дискуссий о процессе, позволю себе привести кое-какие замечания по поводу них с точки зрения ряда основных вопросов, начиная со спроса. Разве я не прав, говоря, что экономисты-теоретики на практике отталкиваются от спроса как от некой данности, а если и возвращаются к его подоплеке, то делают это настолько отрывочно и вполсилы, что никаких серьезных результатов ожидать не следует? Спрос представляется как то, чего люди хотят, а если есть что-то неправильное в том, чего люди хотят, то мы приписываем это испорченности человеческой природы. Принимать спрос как данность в целях интенсивного изучения рыночных процессов – вполне уместно; но на практике этот метод слишком часто сводится к тому, что спрос полагают как оправданный и как оправдывающий все экономические условия, вносящие действенный вклад в его удовлетворение.

Что такое спрос? Это лишь выражение экономической власти и воли, определенное всеми существующими условиями. Он настолько же следствие, насколько и причина действительного состояния экономической системы. Как и все унаследованное нами, он приходит к нам из прошлого в мутном потоке, приносящем с собой все те противостояния и компромиссы, которые составляют человеческую историю. Все пороки экономической системы, за исключением привносимых рыночным процессом, уже неявно заложены в спросе и, разумеется, передаются в производство и распределение. Принять этот поток как чистый – все равно что городу

черпать питьевую воду из загрязненной реки, ожидая, что удастся избежать брюшного тифа с помощью чистых труб. Трубы, т.е. процесс, связывающий спрос и предложение, – предмет величайшей заботы для экономиста, источник же сравнительно мало для него значит.

Относительно спроса как выражения существующих условий отметим, например, что он по большей части классовый феномен. Из статистики доходов, собранной в Англии и Германии в целях налогообложения, видно, что примерно одна десятая часть населения получает половину совокупного дохода[1]. Несомненно, мы должны предположить более высокий процент сбережений в более состоятельных классах, но я не уверен, что здесь нет смещения, вызванного существенным занижением крупных доходов. Судя по обычным наблюдениям, мне кажется правильной и не чрезмерной догадка, что одна десятая часть населения современного коммерческого государства потребляет половину его продукции. Если это так, то спрос в основном определяется экономической властью и волей примерно этой фракции людей – состояние, которое можно объяснить, только приняв во внимание достаточно крупный экономический процесс, включающий множество сил, приводящих к такой концентрации власти. Пригодна ли эта одна десятая для осуществления подобного господства над всем процессом – в этом у меня нет времени здесь разбираться; очевидно, что какие-то доводы можно было бы привести с обеих сторон. Это означает значительную растрату и неверное направление общественных ресурсов, но также укрепление важных интересов, которыми более равное распределение власти могло бы, вероятно, пренебречь.

Вряд ли мне нужно иллюстрировать утверждение, что спрос приносит с собой все пороки и вырождение действительной социальной системы: он требует пьянства, проституции, детского труда и коррумпированной политики так же громогласно, как и более хороших вещей. Вытекают ли эти вещи из врожденной испорченности человеческой природы? В каком-то смысле – да, в другом же – это результат самого экономического процесса, и экономист, если

[1] Эта цифра, несомненно, слишком мала. Недавние исследования показывают, что 20% были бы ближе к истине.

он хочет выполнять свою функцию, должен понимать, как этот процесс обычным образом их производит.

Представляется ясным, что отталкивание от спроса как данности – это избегание наиболее жизненно важных вопросов, вопросов в том числе экономических, в прояснении которых нуждается общество. В самом деле, вряд ли можно представить более порочный метод, чем ограничить внимание процессом, обеспечивающим связь между спросом и предложением, предоставив читателям сделать вывод – а то и многословно говоря им – о том, что экономическое добро или зло следует искать всецело или главным образом в большей или меньшей эффективности этого процесса. Проблема при этом вообще не затрагивается, а самые далеко идущие выводы достигаются якобы точными методами.

Наверное, самый примечательный пример этой ошибки обнаруживается в том, как некоторые влиятельные американские экономисты трактуют распределение. Они берут производительность в ее рыночной оценке как справедливое или близкое к справедливому основание распределения и тем самым принимают спрос вместе со всем, что из него вытекает, как стандарт экономической справедливости[1]. По поводу следующего их довода (на мой взгляд, очень спорного), что конкуренция действенно дает или стремится дать каждому человеку или агенту долю, пропорциональную его производительности, мне в данный момент нечего сказать; отмечу лишь недалекость этого допущения. Если сам спрос организован неправильно, – а в значительной мере так оно и есть, – то даже эффективный процесс может всего лишь связать людей в этой неправильности. Достаточно упомянуть случай девушки, сравнивающей заработки от рукоделия с заработками от проституции, или детей, загоняемых до наступления зрелости в монотонный и останавливающий развитие труд, чтобы было ясно, что я имею в виду. И это не исключительные случаи; они типичны для значительной части того, как на самом деле работает спрос. Нетрудно показать, что общество может быть мысленно вполне справедливым по критериям этих экономистов, но при этом порочным, упадочным, с половиной населения, погрязшей в безнадеж-

[1] Хотя большинство экономистов, на мой взгляд, отвергают в настоящее время эту теорию, она, как мне кажется, неявно предполагается в значительной части нынешнего преподавания.

ной нищете. Пороки и роскошь при этом исправно распределяются согласно закону производительности, а растущая бедность оправдывается растущей неэффективностью, естественным образом ей сопутствующей.

Разумеется, ошибочность всего этого вытекает из фрагментарного видения экономического процесса. Ум движется в узком кругу, из которого исключены наиболее важные жизненные факты. В крайнем случае, как я бы предположил, функциональная экономика на деле рассматривала бы предельно широко возможности дегенеративного общества и то, как можно использовать его ресурсы, чтобы это в целом способствовало экономической регенерации. Но столь же широко должна рассматриваться и частичная дегенеративность нашего порядка.

Обычный экономический анализ не дает никакой основы для суждения о социальной ценности нынешнего распределения богатства; с равным успехом можно судить о социальной ценности человека по эффективности его пищеварения. Этот анализ выявляет силы, которые должны приниматься в расчет – и в этом его реальный вклад, – но ими охватывается только малая часть экономической ситуации. Именно более или менее завуалированные этические претензии узкой школы экономических аналитиков зовут нас задуматься, к добру ли их влияние или к чему-то совсем другому.

Перейду к некоторым замечаниям по поводу конкуренции, которая, если правильно ее понять, составляет самое сердце экономического процесса. Хотя это и признается экономистами, рискну усомниться в том, что они хотя бы в какой-то степени достигли понимания конкуренции, по-настоящему схватывающего ее экономическую функцию и ее связь с другими социальными процессами. Политическая экономия с самого начала абстрагировала конкуренцию от других фаз социального движения, мыслила ее в сугубо индивидуалистическом ключе и превратила ее, в этом узком смысле, в своего рода идеал. Она не показала ее в ее реальной сути, как часть процесса прогрессивной организации, в котором конкуренция и комбинация являются комплементарными фазами социальной адаптации. Конкуренцию изолировали и идеализировали. Комбинацию же сочли всего лишь источником помех и трактовали с помощью метода, очень естественного там, где не согласуются факт и теория. Я назову его методом доктринальных заплат.

В политической экономии вряд ли содержатся хотя бы рудименты учения об экономической организации в широком социальном смысле; и это представляется мне главным ее недостатком. В его отсутствие феномены организации оказываются для нас по большей части неожиданными и непонятными, а экономическая их трактовка, если она вообще есть, похожа на что-то собранное из лоскутков, а не на согласованную часть системы. Последняя все еще индивидуалистична и статична. Учение об организации, давно уже назревшее, не может быть чем-то недостижимым. Некоторые довольно неортодоксальные экономисты, такие как Дж. А. Гобсон и наш профессор Г.К. Адамс, даже сделали кое-что серьезное в этом направлении.

Вернемся к конкуренции. Думаю, есть внутреннее противоречие, характерное для узкого взгляда экономистов на социальный процесс, в том, что свободная конкуренция считается *статическим* состоянием. На самом деле статическое состояние – это как раз то, что должно разрушать свободную конкуренцию и порождать ригидный и неконкурентный вид организации. Свободная конкуренция, поскольку она существует, является феноменом социального изменения и только во времена общего преобладания нефиксированных условий может рассматриваться как нечто само собой разумеющееся и нормальное. В той мере, в какой общество кристаллизуется и приближается, хотя бы в какой-то степени, к статичному состоянию, свободная конкуренция исчезает.

Вообще говоря, в интересах конкурентов «быть вместе». Есть также естественное преимущество в положении, позволяющем владеть той или иной функцией, которое при определенных условиях тяготеет к монополии. Так вот, положением вещей, наиболее этим силам враждебным, является степень экономической нестабильности, при которой у них не оказывается ни достаточно времени, ни достаточно прочной основы для выработки их естественных продуктов. Условиями же, благоприятствующими их «бытию вместе» и монополии, являются условия статичные, поскольку они предоставляют время и прочную основу для этого.

Вовсе не будучи «естественной» для устоявшихся условий, свободная конкуренция может сохраняться в таких условиях лишь постольку, поскольку становится осознанным объектом общественной воли. Единственными гарантиями ее сохранения являются,

во-первых, то, что некоторые динамические элементы, такие как неравенства в способностях индивидов, не могут быть полностью подавлены, и, во-вторых, намеренное поощрение конкуренции такими методами, как бесплатное общественное профессиональное образование и общественный контроль со стороны крупных отраслей, профсоюзов и т.п. Доктрина неограниченной конкуренции индивидов и небольших объединений как нормального состояния была навеяна экономистам дезинтегрированными условиями, естественными для переходной, чрезвычайно динамичной эпохи, в которую они жили. Вживление ее в учение о статичной экономике не может не показаться исследователю более широкого процесса совершенно безосновательным. Эта концепция содержит элементы, принципиально друг с другом не согласующиеся.

Теперь я подхожу к доктрине общественного контроля. У меня есть впечатление, что экономисты трактуют его как предмет, отдельный от экономического процесса, как лоскуток, который можно к нему как добавить, так и не добавить, но который, во всяком случае, имеет внешнюю и чуждую ему природу. Сомневаюсь, поймем ли мы эти вещи, пока не придем к воззрению, позволяющему увидеть общественный контроль как нормальную и неотделимую часть самого экономического процесса, выросшую с его ростом в прошлом и обещающую делать то же самое в будущем. Разве не абстрагировали экономисты некоторые фазы общественного контроля, к которым они привыкли, такие как существующие законы о собственности, договоре и наследстве, принимая их как нормальные, а другие рассматривая как исключительные, как более или менее оправданные «помехи»? Разве не факт, что здесь имеет место непрерывный социально-политический процесс, который нельзя понять иначе, нежели как целое, и что названное мной только что ограничение, попросту говоря, произвольно?

Иначе говоря, политическая экономия устанавливает обширную сферу для рационального контроля в его индивидуальном аспекте, делая его частью своей системы, но игнорирует или отделяет как помеху то же самое в его коллективном аспекте. Но рациональное самонаправление, будь то индивидуальное или коллективное, должно рассматриваться с философской точки зрения как высшая фаза жизненного процесса, и, даже больше того, эти две фазы соотносительны и в целом развиваются *pari passu*. Политическая эко-

номия не только признает, но и преувеличивает индивидуальную рациональность, полагая в ней почти идеальную эффективность, но в то же время оставляет соотносящийся с ней феномен коллективной рациональности мерзнуть за дверью. Эти две стороны насильно разлучаются: одна отвергается, другая принимается, гипертрофируется, обособляется и формализуется. Разумеется, полученная таким образом концепция совершенно нереалистична.

Отношение теоретиков-экономистов доминирующей школы к этике, на мой взгляд, в сущности не отличается от отношения доброго банкира к филантропии. Он готов давать деньги на достойные дела, но настаивает, чтобы ее принципы ни в коем случае не смешивались с принципами банковского дела. Филантропия и этика – опция, личное дело, вопрос чувства. Я же утверждаю, что, хотя эта установка и может иметь некоторые оправдания как метод абстракции при проработке деталей, она оказывается узкой и разлагающей при применении к большим принципам любой социальной науки. Что собой представляют этические цели в обществе? Это просто рациональные цели, репрезентирующие идеал эффективной всеобщей организации. Имеется склонность отодвигать их в сторону как вопросы чувства, а не интеллекта, но если взглянуть внимательнее на суть дела, то мы увидим, что, когда речь заходит о чувствах, все мы оказываемся в согласии; мы знаем, что хотим справедливого, доброжелательного и дающего надежду общества. Принимая это на веру, мы обнаруживаем, что на практике этика создает для нас интеллектуальную проблему – проблему принципов, в следовании которым мы можем достичь тех целей, которых все желаем. Социальная наука, которая не является в своих центральных принципах этической наукой, неверна своей глубочайшей ответственности, своему обязательству функционировать в помощь общему прогрессу. Я не говорю, что экономика на практике совсем неверна этому обязательству, но не уверен, что то, что она делает, проистекает не из простодушного здравого смысла и добрых чувств экономистов, а из принципов их науки. Этические соображения в экономических учебниках, насколько я заметил, являются лоскутками, а не органической частью учения.

Во всем изучении социального процесса центральное место занимает, несомненно, вопрос прогресса, вопрос развития рациональной, действенной, человечной организации. Это по существу

этический вопрос, и любая социальная наука, пропитанная адекватным представлением о процессе, должна так считать. Экономист должен специализироваться на экономическом аспекте прогресса, но если он делает это так, что принципы его науки отделяются от принципов общественной этики, то это, на мой взгляд, фатально плохо.

В целом оригинальная, но ограниченная наука политической экономии, видимо, занимается социальным процессом почти всецело в его непосредственных и несколько транзиторных аспектах – таких как формирование рыночной стоимости, – и вообще не является, в широком смысле, наукой о процессе.

Мне на ум пришел вопрос, не является ли дух политической экономии по большей части додарвиновским? Не находится ли традиция, сформировавшаяся под влиянием индивидуалистической, неэволюционной философии, до сих пор на подъеме, лишь модифицируясь по ходу дела несколько поверхностными применениями доктринальных лоскутков? Во всяком случае, мне ясно, что дух американских теоретиков, каким мы его находим у самых авторитетных авторов, чужд той концепции органического процесса, которая преобладает в нынешней философии, биологии и, в какой-то мере, социологии. Меня удивило, что в наши дни могут выходить в свет работы, настолько статические и индивидуалистические по своей сути, как работы — и —[1]. В экономике явно есть своя атмосфера, способная защитить ее приверженцев от отвлекающих инноваций.

Пер. с англ. *В.Г. Николаева*

[1] Я предпочитаю опустить имена авторов, которых имею в виду, поскольку этот абзац относится к ним не больше, чем к другим. На мой взгляд, все это относится едва ли не ко всей совокупности зрелых теоретиков, обладающих тем, что можно назвать авторитетным академическим положением.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ, ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА[1]

Bloemraad I. 03.006
Bookman S. 03.010
Burton-Jeangros C. 03.008
Chakrabarty D. 03.016–017
Clycq N. 03.003
Cooley Ch. H. 03.018, 03.019
Cruz J.M. 013–014
Delanty G. 03.016–017
Dos Santos I. 03.001
Ercan S.A. 03.005
Fitzpatrick J.S. 013–014
Furedi F. 03.011
Glynos J. 03.012
Hockey D. 03.009
Lee Ch. 03.015
Mintchev N. 03.007
Moor H.L. 03.007
Mota A. 03.016–017
Ng E. 03.006
Rosa E. 03.004
Silhouette-Dercourt V. 03.002
West K. 03.012
Zimmermann-Sloutskis D. 03.008

[1] В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания (2017) опущен.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (№ 3, 2017)

Автобиографии 03.009

Брендинг 03.010

Время историческое
– теории, направления, концепции 03.016–017

Геология историческая 03.016–017
Городская культура 03.010

Девиантность 03.009

Женщина и ислам
– европейские страны 03.005
Женщины
– Швейцария
– – социальная психология 03.008

Идентичность
– социальная 03.007, 03.012
– этническая 03.003
Информатизация общества
– морально-психологическое воздействие 03.011

Кадры квалифицированные
– Ангола респ. 03.001
Качество жизни
– Швейцария 03.008
Климат
– потепление 03.016–017

Лингвокультурология в Германии фед. респ. 03.002
Личность
– и общество 03.018
– преступника 03.009

Маргинальность 03.004
Межконфессиональные отношения
– европейские страны 03.005
Миграционная политика
– Ангола респ. 03.001
Молодежное движение
– центральноамериканские страны 03.013–014
Мультикультурализм
– методы исследования 03.006

Население
– Лондон
– – межэтнические связи 03.007
– национальный состав
– – сравнительное изучение 03.006
– городское
– – европейские страны 03.004
Насилие
– в семье 03.005
– преступное 03.013–014
Научно-технический прогресс и окружающая среда 03.016–017
Национализм
– теории, направления, концепции 03.006
Национальная политика

– Бельгия 03.003
Нефтедоллары
– распределение 03.015

Общественное мнение
– Германия фед. респ.
– – отношение к дискриминации женщин 03.005
– Португалия
– – отношение к колониализму 03.001
Организованная преступность
– центральноамериканские страны 03.013–014

Память историческая
– Ангола респ. 03.001
Поведение
– потребительское 03.010
– преступное 03.009
Пожилые
– психология 03.012
– Швейцария
– – социологические исследования 03.008
Португальцы в Анголе респ. 03.001

Смерть
– восприятие 03.012
Социализация личности 03.003
Социальная адаптация мигрантов
– Бельгия 03.003
– Германия фед. респ. 03.002, 03.005
– европейские страны 03.004
Социальная инженерия 03.010
Социальная сфера 03.018
Социальные группы
– национальный состав 03.007
Социальные изменения 03.011
Социология
– преступности
– – центральноамериканские страны 03.013–014
– расовых и этнических отношений
– – теории, направления, концепции 03.007
– экономики 03.019
Стереотипы национальные
– Бельгия 03.003
– Португалия 03.001

Терроризм
– финансирование 03.015

Ценности моральные 03.011
Цыгане в европейских странах 03.004

Человек
– эволюция 03.018
Чтение
– история 03.011

Экономика и политика 03.015
– Сальвадор 03.013–014

Экономические учения
– 19 в. 03.019
Этнопедагогика
– европейские страны 03.003
Этнополитика
– сравнительное изучение 03.006

Языковая политика
– Германия фед. респ. 03.002

Составитель: *Н.В. Панасюк*

Социальные и гуманитарные науки
Отечественная и зарубежная литература

Реферативный журнал

Серия 11

СОЦИОЛОГИЯ
2017 № 3

Художник обложки и художественный редактор М.Б. Шнайдерман
Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова
Корректор В.И. Чеботарева

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 30.08.1999 г.

Подписано к печати 08.08.2017

Формат 60×84/16	Бум. офсетная № 1
Печать офсетная	Цена свободная
Усл. печ. л. 9,75	Уч.-изд. л. 8,2
Тираж 300 экз.	Заказ № 90

Институт научной информации по общественным наукам РАН
Нахимовский просп., д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
E-mail: inion@bk.ru
Отпечатано в ИНИОН РАН. Нахимовский просп., д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9